

# Daseln



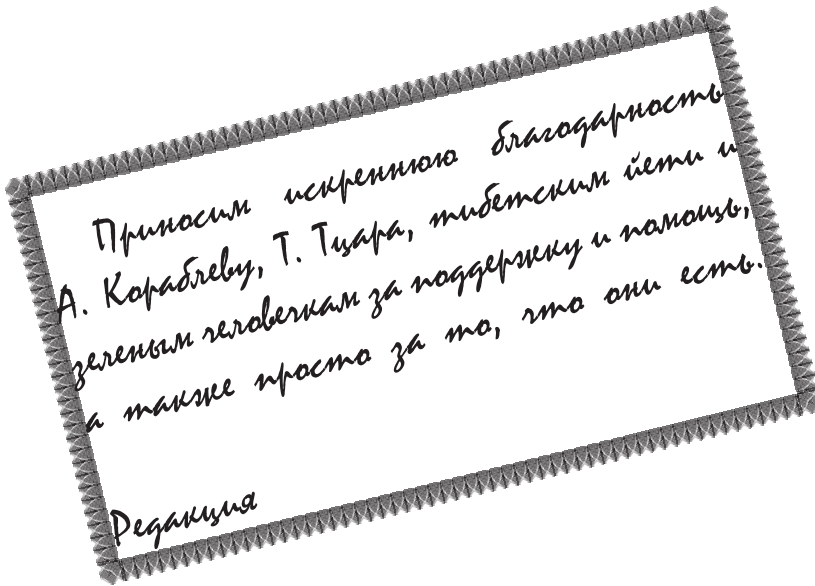
литературно-  
художественный  
журнал

*"Легче легкого делать именно то,  
что нам хочется делать."*

*Труднее трудного быть  
именно тем, кем хочется быть."*

*Амелия Расселли*

*Горноста - 2007*



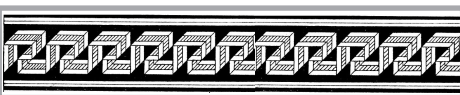
**Номер  
готовили:**

*А. Куликов  
Н. Курдасов  
Н. Чайковский  
Ю. Меняйло*

**А также:**

*С. Дали (Испания) помогал в оформлении  
страниц номера.*

**Ответственный за выпуск:** *Ю. Меняйло*







*У НАС*

Мария  
Каменкович  
*стр. 5*

Людмила  
Оксень  
*стр. 20*

Антон  
Куликов  
*стр. 40*

Леонід  
Талалай  
*стр. 45*

Николай  
Чайковский  
*стр. 57*

Раїса  
Талалай  
*стр. 69*

Сергей  
Шаталов  
*стр. 82*

Светлана  
Макарова  
*стр. 90*

Валерий  
Калмыков  
*стр. 98*

Владимир  
Голиусов  
*стр. 102*

Микола  
Курдасов  
*стр. 105*

Максим  
Стрельчук  
*стр. 118*

Юрий  
Меняйло  
*стр. 120*

Денис  
Титов  
*стр. 133*

ЯЗЫК.  
RU  
*стр. 140*

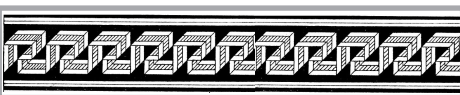
Кисловодск  
2003  
*стр. 161*





Перед вами журнал, - издание новое, но и старое. Вещь во многом эклектическая, можно сказать оксюморонная. «Стихи и проза, лед и пламень», - от почтенной традиции, как формы, так и содержания, - к чуть менее почтенной, но все же традиции модерна и его пост. От авторов известных до авторов известных лишь себе, в лучшем случае – лишь ближайшему кругу. Конечно же в этом присутствует, о чем мы сразу и заявляем, элемент определенной эксплуатации имен первых в пользу последних. Но все же, надеемся, только имен, а отнюдь не текстов. Впрочем, читатель сам вправе судить об этом. («Что в имени тебе моем?») Что же касается немецкоязычного названия, то – почему бы и нет? – Вот вы, например, взяли и открыли его. А само слово, в качестве слова М. Хайдеггера, представляется настолько известным, что перевод его представляется не только не нужным (как, скажем, *existential* в – любой языковой транскрипции), но именно в силу его известности/распространенности, занятием заведомо безнадежным. И опять же, читатель сам вправе решать: здесь-вот-бытие либо присутствие, сделав свой выбор вслед за В. В. Бибихиным в пользу последнего, чей «в отношении *Dasein* окончательный выбор определила фраза православного священника на проповеди, «вы должны не словами только, но самим своим присутствием нести истину»». Нам остается только надеяться, что наше *Dasein* во *Sein* и среди *Sachen* будет бесполезно.

Словом вот – перед вами «вербальный образ, ... запечатленный на бумаге; он мог и не оказаться на ней, но вот он достигает ... чувств, теряет свое вербальное воплощение и приобретает те феноменальные возможности, которые мы и не мыслили достичь запечатленными...» (Л. Арагон).





«Мария Каменкович родилась в 1962 г. в Петербурге. Закончила 470 математическую школу. Училась в литературном объединении В.А.Сосноры, которое располагалось в Доме культуры им. Цюрупы, что на Обводном канале. Второе место учёбы - семинар по семиодинамике Р.Г.Баранцева. Закончила Университет в звании старшего лейтенанта запаса по математической лингвистике. Работала в оккупированном инженерами Михайловском Замке. Уволилась оттуда в годовщину смерти Павла I. Потом учила детей английскому языку в клубе табачной фабрики им. Урицкого, что на Васильевском острове. Кроме переводов книг Дж.Р.Р.Толкина и комментариев к ним опубликовала две книги стихов: «Река Смородина» и «Михайловский Замок». «Река Смородина» вошла в шорт-лист премии «Северная Пальмира» в 1998 году».



Мария Каменкович (Трофимчик). 1962-2004 гг.

**Вместо посылы:**

**“Дорогой Demian!**

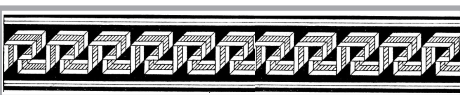
Вашу прекрасную книжку (и для меня совершенно неожиданную!) я получил.

Маша была самая талантливая во всех смыслах из всех моих многочисленных ЛИТО.

Раз в год я делал этому ЛИТО афишные выступления в Доме Актеров, и я

помню Машу, очень внимательно рассматривающую свою фамилию на афише. Она видимо была поражена. В нее были влюблены все юноши ЛИТО. Драк не было, но посвященных ей стихов - кучи. Я запретил читать это вслух и обсуждать. Потом по разным независящим от меня обстоятельствам я вынужден был распустить это ЛИТО и набрать другое. (Это было где-то в 84 г. что ли.) С тех пор я Машу не видел. Я читал ее Толкиена, прекрасный перевод, услышал, что она уехала за границу, выйдя замуж - и опять ни звука. И вдруг года 2 назад она позвонила и зашла в гости.

Я узнал, что она тяжело больна (не от нее), а потом умерла. И вот Ваша





книга. Я и подозревать не мог, что я имел такое значение для нее, как пишете она и Вы в книге, был очень удивлен и растроган.

Не надо мне объяснять композицию книги. Давно прошли времена пошлых "сюжетов", "содержаний" и пр. галиматый. Книга сделана вами вроде бы и спонтанно, но внутренне по строжайшим правилам хаоса, т.е. жизни и смерти. В одном из моих стихотворений есть строчки:

Как поздно любить мертвых,  
как праздно любить живых.

Разве мог я знать, что Маша думает и даже пишет обо мне, и в какой-то мере учитывает меня!

Все. Не могу писать.

Я виноват, моя планета, моя планета (да, не эта, не Земля, как говорит Маша) - все мы виноваты.

Мир Праху.

Спасибо Вам за Машу.

И еще: я сейчас сдал в Публичную библиотеку весь свой архив, сдал и вашу книгу. А тут мне предложили напечатать мою повесть, которую прежде нигде не брали. У меня к Вам просьба: переснимите вторую полную статью Маши, где обо мне Я хочу ее напечатать в своей книге, как предисловие. И пришлите, пожалуйста, по e-mail, по которому получите это письмо. Я хочу, чтоб в России Машу читали.

Если можете, сделайте, пожалуйста, это побыстрее, чтоб успеть вставить в книгу.

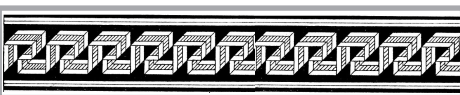
*В.Соснора"*

**Мария Каменкович. 1962-2004 гг.**

### ***О Викторе Александровиче Сосноре***

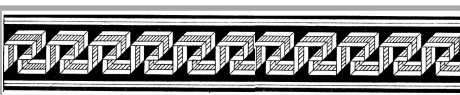
Уж и не знаю, хватит ли у меня дерзновения писать о Сосноре. Не нужно думать, будто за таким дерзновением в карман лезть не надо.

Это настолько странный, «не отсюда» человек, что всех, кто когда-либо оказывался рядом с ним, он неизбежно затягивал в свои странные миры, Соснора - инопланетянин, добровольный аутсайдер, человек ниоткуда и никуда, вне традиций, почти вне человечества («Не удалён и не удержан... Сам удалился и стою...»). Отсюда особый язык, особая интонация его стихов и прозы - это речи инопланетянина, которому странно все, что он видит на чуждой планете, странен и язык, и он овладел им как-то по своему, и искажает на свой





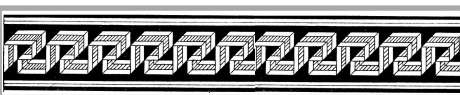
лад. и на свой лад переживает и проживает драму и трагедию здешнего существования, может быть - острее, страшнее, чем местные жители. В романе «День Зверя», например, искажены питерские названия: река Фанданго, вместо Фонтанки, и пр. (да и не только названия - чуть ли не каждое слово вывернуто или скособочено, переиначено). Пришелец неправильно расслышал, или его приборы неправильно расшифровали? И Соснора бравирует этой инопланетностью всегда и везде. «Я всадник, я воин, я в поле один...», «...Я ваших зелий петли не урвал...» (цитирую по памяти). Сказать «Фонтанка» — значит выдать, что знаком с местностью и ссылаешься на что-то всем известное. Хитрый пришелец так и поступил бы, выдал бы себя за аборигена. Но у Сосноры при всей его насквозь прожжённости (даже Бродскому до него далеко, а Кушнер и вовсе соснорин антипод) - вечное детское удивление перед всем, что в мире. Поэтому и образ мира, им созданный - сосноровская Россия, сосноровская Европа с королем Казимиром, Завороженным Комонем и готическими ангелами («...стояли или спали, - молились...»), сосноровские Города - это образы альтернативного мира, может быть, из снов. Сосноре почему-то оказалась доступна тайная суть Европы, ее квинтэссенция, дистиллированная через Польшу (в Польше - тигль, где кипят и выпариваются все культуры). Сосноре удавалось своим странным миром заморозить, отвлечь от того, что было вокруг, а что было - мы знаем. Речь не обязательно о «плохом», «советском». Отвлечь от всего - в невыразимое. В ДРУГОЕ. Может быть, Соснора - это ночные сны Петербурга 70-х. Петербургу снился Запад, пока он был Ленинградом. (Теперь расстриженной столице снится Россия, ее собственные путешествия по России и иные миры, куда выход - прямо у спуска к той же Фонтанке, и не нужно никуда идти). Недаром Соснору полюбили на Западе - за сны о себе. А кем он был в России? Аутсайдером даже в среде аутсайдеров, но центром каких-то микрокругов и кружков. Он, например, руководил несколькими ЛИТО (поочередно, разумеется). Впрочем, Соснора в роли руководителя ЛИТО - это чистый сюрреализм. Добро ещё, в его последнем ЛИТО - в незабвенном клубе им.Цюрупы на берегу Обводного канала - собиралась всё же молодёжь. А в Доме Учёных в Лесном, куда я пришла к Сосноре в десятом классе, заседали по большей части великовозрастные графоманы, шизофреники, подсадные утки и приличные стихослагатели хорошо за сорок. Это позже Кушнер слепил из подручного материала этукую Касталию поэтических гурманов на базе Дома Учёных в Лесном. А Соснора в этом Доме Учёных был как волк в овечьем стаде или коршун в курятнике - клевал, загрызал, крушил. Начальница библиотеки, при которой было ЛИТО, милая женщина, моя старая знакомая, участвовала в изгнании Сосноры с энтузиазмом - она видела в нем средоточие всех пороков. Наверное, так оно и было, а, помимо всего прочего, он был опасным торговцем поэтическими наркотиками, и уж никак не годился на роль опекуна и поводыря тянущихся к культуре солидных дяденек и старушек. Но и наставником молодых он быть никак не мог, и в том, что он переехал с улицы Зодчего Росси на улицу Наставников (или на соседнюю. Не помню. И не важно), заключён такой юмор, что так и видишь, как до колик потешались отвечавшие за этот переезд служебные духи. Для дётишек из ЛИТО им. Цюрупы Соснора был не педагогом, а Крысоловом. И для меня, конечно. Я поначалу, между прочим, и не





подозревала, что Соснора - не проводник в Мир и даже не проводник в Поэзию, и никого никуда вести на собирается вообще. Я горела святым огнём ученичества. Это была полная наркотическая зависимость. Но Соснора, по инопланетности своей, поначалу даже не замечал, что ему подсовывается роль Учителя. Ловить его фразы и советы во время прогулок с ним или у него в гостях было совершенно бесполезно. Он мог, конечно, случайно обронить что-нибудь бесценное, что впоследствии сотню раз пригождалось, а на заседаниях ЛИТО превращался в подлинного Учителя, по-дзеновски сурового, не знающего снисхождения, калёным железом выжигавшего из стихов всё слабое, сырое, мягкое, случайное, а заживет рана или нет - это его уже не интересовало.

Но специально он не учительствовал. Более того, он относился к тому, что его прочтат на эту роль, с тем же весёлым недоумением, что и ко всему остальному миру. Как-то, ещё чуть ли не летом 1982 года, я предложила Сосноре свое жертвенное служение в виде перепечатки его рукописей (заодно, надеясь ими насладиться). Сначала я перепечатывала стихи, а потом - толстенный роман, тот же самый, к слову сказать, «День Зверя». И какой же меня ждал жестокий удар! Мне - набивавшейся в ученицы! - он дал роман, где герой (повествование - от первого лица) - мэтр-геометр - предаётся любовным утехам со всеми своими ученицами одновременно! Помню, я пошла и напилась. А как же цветаевское «За пыльным пурпуром твоим брести в суровом/ Плаще ученика»? А как же написанное мной в восьмом классе - «Мы ждем Учителя серьезно/ И не хотим менять свечей?» Но оцените простодушие этого в высшей степени непедагогического жеста - вручить этот роман НА ПЕРЕПЕЧАТКУ юной идеалистической девице! Неужели мою реакцию нельзя было спрогнозировать? Долго я не могла простить Сосноре этой подsunутой мне работки (впрочем, я ведь сама набивалась). А с другой стороны - это своеобразные университеты, это полезно, когда наждаком по коже... С иллюзиями надо расставаться как можно раньше. В ЛИТО не было никого с иллюзиями. Иллюзии Соснора вывел на корню. Равно как и плохие рифмы, «душевную теплоту», мечты о литературной карьере - при том, что сам-то он её сделал! Но это было просто грамотной последовательностью действий приземлившегося на чужую планету пришельца. Между прочим, обратите внимание - «ахматовские сироты» с Соснорой не считаются, а ведь он долгое время жил в Комарово у Гуревичей дверь в дверь с «Будкой», и у Ахматовой бывал, и стихи там читал. Но не схлопнулось, и не наше дело, почему, подоплека все равно очевидна: другой, инопланетянин. На языке этой компании Соснора, наверное, выглядел недостаточным диссидентом, недостаточным фрондером - еще бы, работал на заводе (рабочая биография, первый гвоздь в карьеру!) Это пролетарское прошлое за ним некоторое время триумфально влачилося, облегчая взятие каких-то порогов и высот. Послали же Соснору представлять питерскую поэзию в Париж, при том, что Москву представляли настоящие матерые конформисты - Евтушенко, Вознесенский и еще кто-то. В Союз Писателей вступил... На языке Наймана, Рейна и компании (сюда же примкнул и Довлатов, где-то вскользь помянувший Соснору как «какого-то молодого поэта, который работал где-то на заводе», цитирую по памяти) это называлось, наверное, конформизмом, но мало ли что как называлось на их - здешнем - языке. Да и время было простое - существ из других миров судили





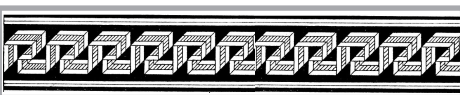


по здешним законам. Интерес вызывали не «другие», а «настоящие наши». Соснора же - ДРУГОЙ, причем *par excellence*. У Сосноры - и Комарово другое (не как в теперешнем распространенном мифе), и Ахматова другая («В скольких скалах жила! Никого не любила...»). Но быть не от мира и пользоваться миром (разумеется, не изменяя себе ни на йоту, иначе и говорить было бы не о чем) -- это нормально. "Сироты" же, будучи все-таки от мира сего, как и Ахматова (любой классик - от мира сего, иначе мир никогда не признал бы его за классика), «разрешенные» пути в захваченном злыми силами мире с гадливостью отвергали и от других ожидали того же. И это тоже нормально. Две нормы. Между прочим, обеспечив себе возможность спокойно жить и писать под защитой членства в Союзе, Соснора дальнейшей карьерой пренебрег и погрузился в свои криптограммы: взял у системы то, что ему было нужно, и забыл о ней.

Забыли и о нем. Посмотрите на сегодняшних средневозрастных модернистов, на

выпущенный ими в 2000 году сборник «Genius Loci», где, в одном из эссе попутно излагается история советского модернизма в Ленинграде-Петербурге и Москве. Соснору они **ДАЖЕ НЕ ПОМИНАЮТ**, а ведь он и как поэт, и как модернист - гигантская! великанская фигура! До таких экспериментов с языком, до такого богатства, как у Сосноры, всем им - как до планеты Юпитера. Никому из них так не покровительствовал «гений места» - гений города, как Сосноре. И не важно, обходят ли они его молчанием потому, что боятся сопоставления (это ведь не ко всем относится, есть же и в этой тусовке неплохие поэты), или потому, что инопланетяне для них невидимы, или потому, что срабатывает рефлекс - чужаков не замечать, в упор не видеть? И то, и другое, и третье не к их чести, но по доброте душевной можно их понять - даже если человек провозгласил себя свободным (одно из обязательных свойств модерниста, по определению сборника), это ещё не значит, что он им стал, раскрепостился и увидел ДРУГОЕ рядом с собой. То, что мы «учились» у Сосноры, что мы любили его, и его инопланетность, и его стихи, и ловили кайф от его особенного языка, и пели мирзаяновские песни на его стихи, дало нам бесценную свободу, но одновременно и обеспечило отчуждение от общего «литературного процесса» - да мы и сами петушились и противопоставляли себя остальному миру. Ни клуб «37» не раскрыл нам объятий (и мы не напрашивались), ни официальная литература и толстые-тонкие журналы (вскоре либерализированные - с началом перестройки), зато мы причастились тайному, сновиденному Петербургу, глубинным тайнам Европы, невысказанным путям внутри России, мы - те, кто знал Соснору - посвященные. Впрочем, это «мы» вскоре вылетело из соснориного гнезда и перестало существовать как что-то цельное и единое.

На самой заре юности и ЛИТО - 81 год - я написала поэму «Ярмарка», слабую, но важную для меня самой. Героиня всюду ищет привидевшегося ей ангела (был прототип!), но ангел в итоге оказывается соломенной масленичной куклой на сожжение. Мораль - соблазнам Ярмарки поддаваться нельзя. И Соснора фигурировал в этой поэме как в высшей степени сомнительный советчик, который предлагал героине вывести ее из кругов Ярмарки, не на свет, правда, но по крайней мере на другой уровень. Но героиня предпочла разобраться во всем сама. Избавившись наконец от обманного ангела,





оказавшись на свободе, она видит, что предлагавший помощь Незнамец тоже покинул Ярмарку, но удаляется и не думает оборачиваться. Героиня забавляла его своей увлечённостью Ярмаркой, но на новом уровне она больше ему не интересна. И вот как кончается поэма (единственные стихи оттуда, которые сейчас мне не так стыдно цитировать, как остальные):

«Кто же был мой советчик синий?  
Шарлатан он или ходатай?  
Кто глагоlal его устами?

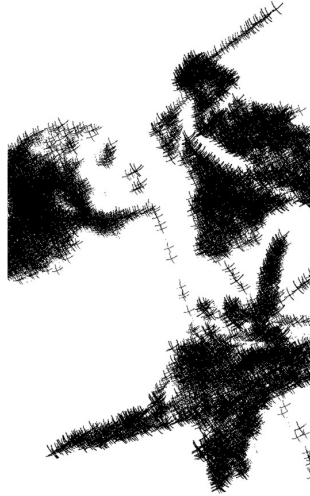
- Между нами - аллеи статуй,  
реки смерти, рассветный иней,  
рвы, заполненные листьями,

дым декабрьского пожара,  
золотая фигура с тростью,  
удаляющаяся державно,  
сновиденные свет и строгость.

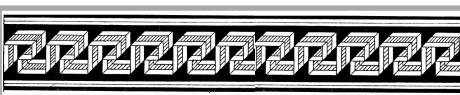
Вольно, знобко, просторно, грустно.  
Все – в застылости и в безмолвии.  
Замороженные русла,  
Отражающие молнии.

Ничего не скажу я, кроме  
Как о пасолнцах, как о метях,  
Как о лунах, налитых кровью,  
Однорогих кривых кометах,

Как запрет на слова наложен.  
Как рассвет...»



Вообще-то неправильно говорить о Поэте, которого называешь своим Учителем, а цитировать свои стихи, а не его. Но Соснора мало того что неудобочитаем («...юница-чтица, рай-дуга-Рубенс./Не читается мой цианлавр!»), но и неудобочитируем. Нельзя иллюстрировать собственный текст цитатами из него. Проецировать его восемь измерений на собственную плоскость. Эффект - неизбежно комический. Даже если трехмерную каплю спроецировать на лист бумаги, и то получится клякса, а тут... Ну вот, например, процитируешь - «Уши овец как у зайцев... Смотрят, как смерть», - и строка приобретает какую-то ложную многозначительность. Как если бы сообщение о том, что у овец уши, как у зайцев, настолько меня потрясло, что я сочла нужным его даже процитировать. Цитата приобретает другую интонацию - не ту, что в стихе, присущий ей контекст обдирается с ее боков, зато выпячивается буквальный смысл входящих в нее слов. «Смотрят, как смерть!» Это посильнее «Фауста» Гете! А процитируешь стих целиком - он окажется вырван из общего контекста книги, куда он входит (а Соснора пишет книгами!), да и всей поэзии







Сосноры, - и тоже изменяет значение, Куски иного мира на нашем письменном столе могут прожечь этот стол насквозь, а могут выставить все, что на этом столе, в смешном или диком свете. А могут все к собакам расплавить. Вот Соснору и замалчивают - боятся за свои письменные столы, за свои книги: в присутствии сосноровских текстов любая вещь может превратиться во что-то непредвиденное. «Чужаков жгут, самозванцев жгут» - это тоже из «Ярмарки». Самозванцы стремятся как можно быстрее уничтожить, предать огню всех чужаков, всех, кто может их разоблачить, - иначе их самих сожгут... Но, возвращаясь к Сосноре и цитатам из него - давайте я приведу ещё одну-две цитаты, выхвачу наугад:

«... Люблю зверей и не люблю людей.  
Не соплеменник им я, не собрат...»

«... И если это человеки вокруг,  
Я отрекаюсь: я - не человек».

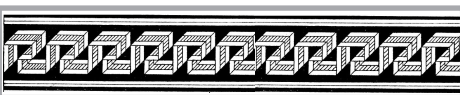


Песня Крысолова! И за этой флейтой дети, как замороженные...

«Я смотрю с интересом:  
кесарь я или слесарь?»

«Не хороните же меня, стужа стерляжья...»

Соснора - одинокий волк (не лис, не вол, не лев, можно сказать, если призвать на помощь его же стилистику), одинокий поэт. На каком фоне его ни нарисуй, он будет фатально выпадать из него. Но если все же попытаться набросать хоть какой-нибудь мало-мальски подходящий задник, то там, конечно, будет каким-то образом присутствовать Ленинград конца 70-х годов («У моря в Риме/Ленинград стоял/в нем Невский Конь/стоял, как гладиолус...»), некоторые петербургские пейзажи в определенном освещении (хотя бы улица Зодчего Росси со старой, узкой комнатой Сосноры в коммуналке, с картинками на стенах, пера не то ребенка, не то инопланетянина, с чучелом собаки на шкафу, круглый скверик в конце улицы Зодчего Росси - "бублик", Витебский вокзал), но и их можно допустить в песню о Сосноре лишь затем, чтобы не дать вторгнуться туда чему-то уже совершенно чужеродному. Конкретной истории Соснора не принадлежит. Он из нее выпадает. Тот, кто с ним встречался, может воспоминанием об этой встрече как-то украсить свою личную биографию, это да, этого никто не отнимет. Так дикарь из африканского буша мог бы вставить в свое ожерелье найденный в пустыне волчий клык или переливающуюся цветами радуги кредитную карточку "Visa". Соснора - как волчий клык в Сахаре - не из какого времени, тем более не из нашего. И достаточно! Не нужно раскладывать Соснору по полочкам и литературоведствовать, зависая над ним вниз головой подобно летучей мыши. И бесполезно сетовать, что он увел детей неизвестно куда, и они уже не вернутся в Гаммельн. И что он потчевал неокрепшие умы извращенной, инопланетной пищей. Поэтов не судят, поэтов любят. Поэтов не судят не потому, что искусство выше морали и





нравственности. Ничего оно не выше. Просто - нельзя никого судить. Это глупое занятие. Поэты - просто есть. Их стихи - просто есть. Это - часть бытия. Это - ничье дело. Птичье дело. Черничье дело.

КНИГА  
ПЕТЕРБУРГСКИХ ЗАКАТОВ  
(фрагменты)

\* \* \*

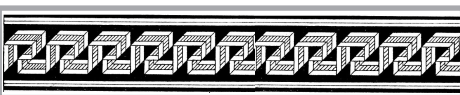
ориентируйся по кронам,  
по облакам и по закатам

\* \* \*

Все закаты - в тон одному Закату Петербург - вообще город Заката. Город, Претерпевающий Закат Долгий северный закат для Петербурга символичен. Рассветы здесь чаще всего мучительны: холодно, темно Мучительна «петровская заря», пробуждение в новый день российской истории, вздергивание России на дыбы, хотя уже давно известно, что никто никуда не поскачет, а всё так и замрет в претенциозной позе Город строился на заре, на сотнях мертвецов, не переживших рассвета. Поскольку - поперек основного, закатного смысла. Ибо Петербург - Окно не столько на запад, сколько в закат, в мистические просторы заката. Это серьезнее. И это окно всегда распахнуто. В Петербурге возлагается меньше надежд на День Этого мира. чем. скажем, в Москве. Потому и говорят сведущие люди: этот город построен не для жизни. Петербург смотрит за горизонт пророческими, знающими очами: в закатный отказ от здешнего, в запредельность. в преодоленность дня. в запредельность, за-суетность, за-ночь. А тем временем ночная нечисть уже готовится как следует разгуляться после заката.

\* \* \*

Поэт - с павлиньим хвостом городского заката - осторожно переступает на тонких ногах коленями назад, бесцветный и яркий среди бесцветного и яркого мира, рассечённый на части и плоскости тремя мечами - белым, чёрным и серым. Белый меч - мироотречение, на рукояти его - крест, лезвие - безжалостность Черный меч - ненависть и гордыня, приговоры и законы хладного света. Серый же меч - меч только с виду, на самом же деле это каучуковая дубинка, которая не рубит, а плющит: это -необходимость жить, покупать червячков на прокорм, а то клевал бы себе камушки. Странны и чудны дела Твоя, Господи! Отчего всё. что Ты сотворил вместе с нами и вокруг нас.





уверено, что останется в бытии благодаря нам? А доверие обманывать нельзя. Доверие - священо, как гость. Всякий получит по вере своей. Вещи погом> и существуют как безмятежно, что уверены в нашем благородстве - уж мы не подведем, мы запоем, опишем, зарисуем, сфотографируем. Дети и то не так безоговорочно верят в прекрасную мудрость взрослых, как вещи: ведь дети надеются эту мудрость унаследовать, вещи же надежды лишены, зато верую ил мир стоит. Не весь мир, правда, - небо, например, на нас не рассчитывает. Небо с людьми находится в неисследованных доселе отношениях, которые, кажется, никого, кроме поэтов, не интересуют. А напрасно. По крайней мере, небо, на нас не рассчитывая, со всей очевидностью нас УЧИТЫВАЕТ. Но почему? И каким образом? Почему возможно, хитроумно организовав распределение облаков, спроецировать в зрачки ничтожного наблюдателя целую широкоэкранную мистирию, причем так, чтобы на другом конце города другой досужий зевака тоже видел над собой небесное кино, но уже другое, как если бы он был один в кинозале, и механик старался для него одного?



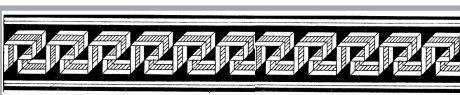
\*\*\*

Вечером на праздник Спаса Нерукотворного мы с сестрой были в Комарове на бе-

регу залива. На небе стоял какой-то неземной, сверхъестественный закат (однако много же нам в жизни приходится видеть неземного и сверхъестественного), сложный и многоцветный, и по небу плыл, вдали от главной мистирии, о которой у меня в памяти ничего не сохранилось (так забывают сны), настоящий ангел. Каждое перышко выписано, все пропорции соблюдены. Мы видели его сбоку, на нас он не смотрел, просто неподвижно летел, со сложенными на спине большими крыльями, которыми, конечно, не махал. Так он и летел, не шевелясь и изменяясь бесконечно медленно, но так до самого конца и не перестал быть ангелом, даже улетев, растаяв, потеряв ало-огненно-золото-пурпурную раскраску. Что удивительно, кстати, в этих облачных ангелах, так это их полная свобода и та свобода, которую они предоставляют наблюдателю. Они не летят тебе навстречу, чтобы навязать что-то, они летят «по своим делам», а ты как бы случайно увидел. Но ведь если ангел тебе явился - разве это не значит, что он навязывает тебе веру в себя? Нет, ведь я всегда могу сказать себе, что это просто облако. Таковы дивные устои небес: ты всегда можешь отвергнуть чудо, свидетелем которого был, и, если совесть тебе позволит, объяснить его материалистически. Чудеса случаются как-то скромно, ненавязчиво. Ангел показался нам, но не нарушил нашей с сестрой прогулки, не потребовал упасть ниц, не внушил тяжелого шока - вот высшая деликатность! Мне кажется, он всё ещё летит, летит, слегка склонив голову, в пурпуре и золоте, всегда, всегда, а где - не знаю.

\*\*\*

Закат после праздника Преображения в 85 году. Я видела этот закат из-за домов. В облаках - неимоверное: оттенки бежевого, молочно-розового,





тускло-опалового, и вдруг - рядом с лазурью -матово-голубого. Выше светящиеся гребешки туч. Я дожидалась трамвая; над Тучковым мостом гигантская, под острым углом. рифленая светло-золоченая полоса, ниже луч облака, а под ним -как бы в подполе - уже иное: красно-серое свечение, уходящее и уводящее в глубину. По обе стороны - невероятные человеко- и херувимо-подобные фигуры, возносящиеся, воскуряющиеся, клубящиеся, а на другой стороне моста - могучая озарённая грудь гигантского облачного фронта. Всюду строятся арки... Юг, север -все подожжено, из-ала-синее, лилово-алое, и всё отражается в лужах, в Неве, стоит в конце проулков... Люди в трамвае даже слегка заволновались, чего обычно не бывает, небо принято не замечать. Но перспективу заслонили дома Петроградской стороны, пассажиры немного успокоились, - и, когда трамвай выехал на второй мост, Каменноостровский, уже настолько пришли в себя, что не обратили внимания на продолжающееся Действо. - или сделали вид, что не обратили Но тут выехали на Карповку, к монастырю Иоанна Кронштадтского и — общее «ах»: в глубине, за куполами монастыря, мгновенное диковинное видение - красная, рубиновая шаровая молния: провал в царский, неземной, кровавый, горный свето-цвет Чистый. Это был глаз Солнца в тучах. А под ним - три молнии вниз (как падающие от страха ученики на иконах Преображения) - это было уже почти: «Кто увидит, не останется жив» Молнии - три разрыва в тучах, как бы нарисованные горящим кармином, три зигзага. Трамваестранники и я были удостоены видеть что-то за-сстесненнос. хотя, с другой стороны, подумаешь, ничего особенного, скажет тот, кого не было в этом трамвае.

Когда небо открылось в следующий раз, ничего уже не было - только последняя солнечная искорка из тучевой глыбы, но и эта картина была полна Присутствия.

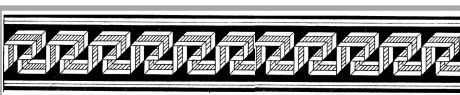
\* \* \*

Путь в небеса неотягчен возвратом,  
Иначе он - не в небеса, а к хлебу.  
Обрубки гор обагрены закатом,  
Обречено их устремленье к небу.

Обречено и любованье ими.  
Свидетели прадревних поражений.  
Тщеты титанов, торжества эриний, -  
Они своих не стоят отражений

В зрачках у нас: мельчайших, вверх ногами.  
Мы - горы без вершин, хотя и тянет  
Вернуться с полпути, и вверх локтями  
Лежать, рассматривая землю, сапогами

Истоптанную, в корешках пырея,  
Жучками-паучками обжитую,





Своим теплом её, сырую, грея, -  
Не сплошь, но вдоволь кровью политую.

А кто-то не вернулся с полполёта  
И больше не относится к землянам.  
За ним сомкнулась, чавкнув, как болото,  
Голубизна, враждебная зияньям.

И он не стал добычей скалолаза,  
И с карты стёрт, и изгнан отовсюду,  
И нет ему ни шапки из алмаза,  
Ни ризы, равноцветной изумруду.

Но время с местом помнят все, что было,  
И эта память стрелки отклоняет  
Магнитные, и ставит на дыбы нам  
Послушных кляч, и лодки накреняет.

Вот отчего над обагрённым гребнем  
Тревожны ливни, взвихрены туманы.  
Вот отчего томимся мы и гибнем,  
Как моль, зажатая между томами,

Которых ей не прочитав вовеки.  
Вот отчего мятёж в душе и склока,  
И вспять текут бунтующие реки,  
Исхода не найдя, ища истока.

Берхтесгаден, 1997-8 г.

\* \* \*

В бесконечном бездонном  
в совпадающем со Вселенной  
мокром ночном Ленинграде  
сгорбившись и поднявши воротники  
вдоль потусторонних улиц  
освещенных нездешними фонарями  
уходят люди  
каждый из них совпадает со всей Вселенной  
или даже больше нее  
мироздание уместается в их кармане  
их дневная жизнь  
и дневная жизнь Ленинграда  
никакого значения не имеют  
безвоздушный кафка





переполненные уродами вагоны метро  
службы в бюро в кочегарках  
мусор бирюльки тоска  
ночью город равен Вселенной  
и они уходят поднявши воротники  
спрятав руки в карманах  
в направлении к окончанию тысячелетья  
где мерещится хоть какой-то рассвет  
но попробуй переживи четыре часа утра  
вот они и не переживут

я стою на балконе девятого этажа  
мне одиннадцать лет  
я беззвучно кричу им с башни  
оглянитесь эй эй прихватите меня  
прихватите меня я с вами я с вами  
но они не слышат  
да и если бы слышали не оглянулись  
как же как же нужна я кому-то  
(это впрочем только с маленькой буквы...)

грустные люди уходят поднявши воротники  
мимо бетонных заводов ночных заборов  
под дождем без зонтиков руки в карманы  
я смотрю им вслед с перекрученным сердцем  
кто-то будет вот так вот когда-нибудь провожать и меня  
уходящую в ночь неизвестной сырой дорогой  
в глубину изменившегося Петербурга

1974-2004 г.

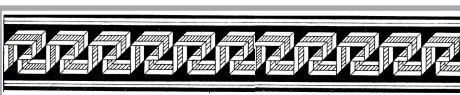
\* \* \*

Сюда неузнанною прихожу  
И ни за кем глазами не слежу.

Там, на дворе, - ноябрь, и путь огня  
Фонарь кладет на землю для меня,

И однозначен смысл фонаря... -  
О Гоголе со сцены говорят,

О Пастернаке - мне же блик стены  
Куда понятней: ждут, отчуждены,  
Столпившиеся вещи - и намек  
Читаю я в сыром огне дорог,





И ухожу неузнанной - и в ночь -  
Одна на весь ноябрь! - шагаю прочь,

В бездонный шорох ливня ноября,  
живой и жуткий отблеск фонаря,

И мне одной - сквозь белой строй - иди -  
Неузнанной - по белому пути.

весна- осень 1979г.

\* \* \*

Благородные деревья Европы  
Безмятежно стоят, разделяясь на группы,  
Наши — в ужасе валятся друг на друга,  
Не терпя вращения земного круга,  
Ощутимости воздуха, ветра, влаги,  
Опасаясь кончить листком бумаги  
Или мертвою шпалой с тупою шеей  
Под пятою узкою рельсы-шельмы.  
Благородные облака барокко  
Над Европой стоят, не пугаясь рока,  
И растут свои корабли и башни,  
Наполняясь мирно дождем вчерашним.  
А в России, в холодном ее просторе.  
Разметались расстриженные Престолы,  
Окопались ссыльные херувимы  
И пророчат впрок, непереводимы,  
И с неслушною круто толкуют тварью,  
Заливая ей рот расплавленной киноварью.

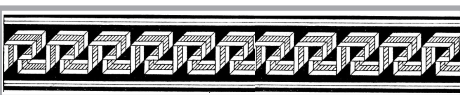


Ну, а тварь в поднебесьи орлом ширяет,  
За скирятник шавок волкам швыряет,  
И, набравшись пьяной болотной тины,  
Норовит сапогом наступить в куртины

Далеко забредших на север садов Европы,  
Где, отсутствуя взором, статуи тянут стропы

Парусов Петра, голубых от пыли,  
Не желая видеть, куда приплыли.

1993г.







\* \* \*

Когда цветут Орфей и Эвридика,  
Когда горит за рощами заря  
В таинственных лесах Твоих, Владыка,  
Душа блуждает без поводыря.

За соловьем стремя слепые очи  
И отражая рыжий месяц в них, —  
И много скрыто в дебрях белой ночи  
Обителей для избранных Твоих.

Июнь 1993 г.

**Обрывок  
письма,  
подобранного в Горловке  
на газоне  
близ улицы Комсомольская**

Пишу тебе, Ермий, из русской глубинки.  
Здесь летом по-прежнему много клубники,  
Но, судя по гривнам, мы вновь в Украине.  
А впрочем, как будто бы Рим не кроили!

В саду у Нерона, горя на столбе,  
Мы так это и представляли себе,

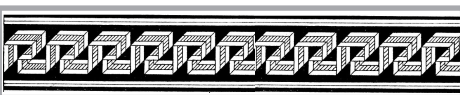
Ты помнишь? А в небе? А там, у Престола?  
Мы дела с тобой испросили простого —  
Смирненными служками Высшего клира  
Дежурить в провинциях этого мира.

Меня — в Третий Рим, и тебя — в Третий Рим...  
Но кажется мне, будто снова горим,

И наши усилия — стуне и даром...  
Я думаю, здешние земли — под паром,  
Под паром Истории. Эрго — под тенью.  
Тогда — если внять моему разуменью —

Столетий на шесть или эдак на пять —  
Вот срок, на который придется застрять

На этой бурьяном заросшей канаве,







На битвице старом, на древней Каяле,  
Где высятся угольные пирамиды –  
Не то пост-модерновый задник «Аиды»,

Не то – зазеркалье загробного Хема,  
Форпосты Шеола, помет Полифема...

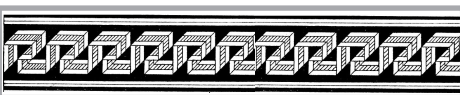
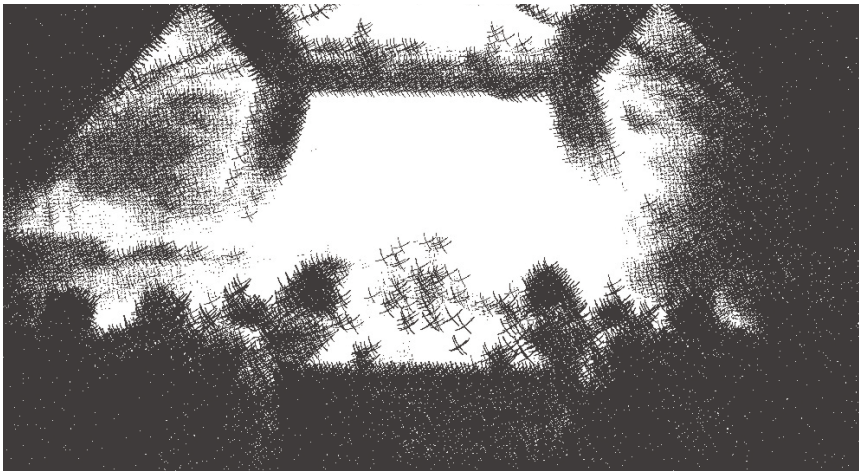
О Ермий! В Туве твоей, знаю, не слаще.  
С проснувшимся – легче, труднее – со спящим.  
Когда еще станут Казбеками кочки!  
И прежде чем купишь – плати по рассрочке...

А Рерих в музее – он знает места  
И сроки, но палец кладет на уста.

Скажи, ты пробился к твоим подопечным?  
Я – тучами в небе твержу им о вечном.  
Тут не было неба, я долил им краски,  
Но, верно, они не заметят подсказки.

Лишь тем утешаюсь, что я не один, –  
Здесь распят инкогнито наш Господин,  
Да старая церковь, презренна от всех,  
Пыхтя, раздувает при кузнице мех,  
Полы подобрал, суется у огня,  
Не видя и не узнавая меня...

Бессменен ее изнуряющий труд.  
И сроки, как церберы, вход стерегут.





**Людмила Оксень.** Родилась в 1985г., студентка Горловского пединститута иностранных языков.

*«Определить – значит ограничить».*

## **Не пойман**

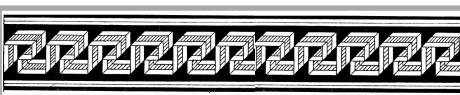
*(Главы из романа)*

### **ГЛАВА ВТОРАЯ**

Фёдор Виноградов очнулся на вокзале. Ещё не раскрыв глаза, просто сосредоточив внимание на звуках, составляющих окружающий мир (это была его старая привычка музыканта: прежде всего – вслушиваться) он понял, что находится в зале ожидания, в кресле возле открытой двери, сквозь которую доносились крики пассажиров, стук, свистки, и господствовал надо всем этим голос диктора, объявляющего посадку на какой-то пригодный поезд.

В непосредственной близости от Фёдора оживлённо орали, ссорясь, две молодки, доносились запахи беяшей, поездов, табака и самогона. От всей этой гремячей смеси у Виноградова закружилась голова, к горлу подступила кислятина. Вознамерившись побороться с очевидным похмельем, он одним резким движением распахнул веки; ему показалось, что они растворились с лязгом здоровенных литых ворот.

«Скотина всё-таки Гитлер, – о, чёрт, – голова-а-а...». Солнечный свет неумолимо бил ему в лицо. Фёдор не мог не отметить, несмотря на охватившую его тошноту, что Никита, как всегда, бахвалился, рекламируя свой супернаркотик. Но продолжать рефлексировать по поводу вчерашнего вечера он не стал. Мучительно хотелось пить. Утром, видимо, подморозило – он выдохнул струйку пара, и сразу же ощутил, как ему холодно. Молодой человек огляделся по сторонам, движимый бессознательной смутной на-деждой





высмотреть забытое одеяло. Его глаза, полные слёз из-за невыносимого холода, остановились на аккуратном буфетике, где помимо всего красовалась надпись «Чай-Кофе-Капучино». Чашка чаю спасла бы его, но – пошарив по карманам, он не нащупал даже тени бумажника. Конечно, его обчистили, пока он спал. Мозг Виноградова лихорадочно заработал. Не попросить ли денег у копошившихся с завтраком соседок? В другое время он ни за что не пошёл бы на это, тем более что провал этой затеи был очевиден для Фёдора даже в таком плачевном состоянии, но он всё же повернулся в сторону женщин, чтобы рассмотреть их повнимательнее. Это были, вероятно, мать и дочь. Старшей из них Фёдор дал около шестидесяти, младшая была неопределённого возраста. Неопрятные, с невымытыми крашеными волосами, они походили на двух взъерошенных гарпий, побитых жизнью. Они ели батон и сырые сосиски, запивая их подозрительной жидкостью из пластиковой бутылки. От них несло простоквашей и мочеными яблоками. Мать отряхнула с юбки крошки хлеба и зевнула, обнажая два позолоченных зуба.

– Извините, вы не займёте мне 50 копеек?

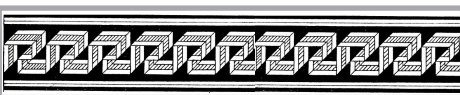
Ответом на просьбу Виноградова было ругательство и упрёк, вроде того, что «молодой, а набрался как последний козёл, и попрошайничает у женщин, лучше бы работать шёл, куда родители смотрят...»

Он не стал настаивать. Собрав последние силы, он поднялся, и, пошатываясь, вздрагивая, направился к заветному киоску.

Вид у Фёдора был декадентский: спутанные волосы, помятый чёрный плащ, грязная обувь. Серый шерстяной шарф, которым он изо всех сил пытался удержать неумолимо покидающее его тепло, сбился комком на груди. Глаза Виноградова сияли робким похмельным светом. Он подошёл к окошечку киоска. Толстая продавщица, женщина лет тридцати, похожая на разукрашенную матрёшку, поглядела на него подозрительно и жалостливо. Она, казалось, умоляла его не просить её ни о чём, так как она будет не в силах отказать, и тем самым нарушит свой долг. Долг угнетённого никогда не помогать более угнетённому. Долг презирать опустившихся, дабы самому не пасть ещё ниже. Виноградов понял настроение женщины, и, вздохнув, попросил у неё кипятку. Матрёшка безропотно налила ему пластиковый стаканчик, не поинтересовавшись причиной странного заказа: всё было понятно и так.

Фёдор отскочил от киоска с неожиданным проворством; правда, у него сразу же закружилась голова, и он прислонился к стене. Кипяток согрел дрожащее тело, притупил головную боль. Виноградов понял, что нет смысла оставаться в этом пошлом месте; скомканный стаканчик полетел в сторону урны, полупустой, но обрамлённой цветастой грудой мусора и объедков. Фёдор поёжился и направился к выходу.

Снаружи было солнечно, хотя дул ледяной ветер. Зеленоватый, кое-где ржавый электропоезд вытянулся и захрипел, отправляясь к месту назначения, а Виноградов с тоской подумал, отчего не он стоит сейчас в прокуренном тамбуре и вдыхает сквозь открытую форточку безумный светящийся воздух. Раздался гудок. В небо поднялась встревоженная стая непонятных птиц. Пахло соляной кислотой и ещё чем-то характерно-железнодорожным. Фёдору невыносимо захотелось уцепиться за медленно уползающий «хвост» электрички и уехать в сторону маленьких, заброшенных станций, где ничто не будит мучить его.





У здания вокзала две затрапезные бабуся продавали семечки, папиросы и чупа-чупсы, подле них по розоватым плиткам перрона расхаживали голуби. При приближении Виноградова они вспорхнули было, но, то ли от лени, то ли от храбрости, продолжили неторопливо выискивать пищу. Фёдора снова затосило, он задержал дыхание и закрыл глаза.

– Молодой человек! – послышался голос, похожий на мочалу, оторую обмакнули в клей. Виноградов почувствовал уверенность, что обращаются именно к нему.

«Это он пришёл за мной. Ну и чёрт с...», – мысль осталась неоконченной. Обернувшись, он увидел очень странного субъекта. Лохматый, с криво подстриженной бородой, с крючковатым носом и в драном пальто, – перед Виноградовым предстал Верлен, в чьих глазах до сих пор мигали зелёные отблески абсента.

– Молодой человек, стойте!

Виноградов безропотно подчинился. «Верлен» наконец нагнал его и торопливо пробормотал извинения.

– Меня зовут Теодор. Я позволил себе отвлечь вас, но, чёрт возьми, – вы показались мне честным человеком. Ваше имя?

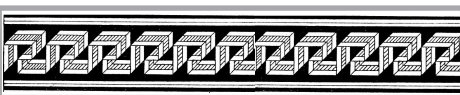
– Фёдор.

– Прекрасно, прекрасно. Я хочу предложить вам сделку...тележка...полным-полно, и идти не долго...тащить буду я... – У Виноградова кружилась голова, и бредовые речи бродяги доносились до него словно издалека, из-под толщи воды или густого тумана, где расплывались кровавые пятна. С внезапным раздражением Фёдор собрался послать своего собеседника на х... но, мучимый похмельем, замешкался. Момент был упущен: человек, назвавшийся Теодором, подхватил его под локоть и повёл еле бредущего Виноградова в никуда.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*Теодор. – Во время визита в Америку, Хрущёв и Кеннеди ехали в президентском лимузине по Вашингтону. Речь зашла о пьянстве. «Вы, русские, всё время пьёте, – говорит Кеннеди, – а у нас в США вы не встретите на улицах ни одного пьяного. А если встретите, вот вам пистолет, сразу убейте его». Едут они, едут, и вдруг – четверо упитых мужчин на скамейке в парке! Джон Кеннеди не верит своим глазам. Хрущёв радуется, и давай стрелять – всех поубивал. На следующий день в газетах сенсация – «Вчера какой-то краснолицый ушастый гангстер расстрелял советское посольство!»*

Фёдор и Теодор сидели на лавочке возле подъезда, и пили брагу. Теодор был поэтом, переводчиком и драматургом. Двадцать лет назад городская комиссия психиатров признала его сумасшедшим. Он жил в квартире его покойной бабушки, получая мизерную пенсию и промышляя металлоломом, бутылками и макулатурой. Но это не имело значения, по сравнению с его творчеством. Он обитал в другом мире, где был знаком с Николаем Гумилёвым, Анной Ахматовой и Иосифом Сталиным. На сморщенном лице Теодора отражались сны Франца Кафки, а его расшатанные нервы давно уже держались





на одном алкоголе. С виду он походил на несчастного безумца, но когда Фёдор услышал несколько строк его стихотворения, он понял, что судьба привела его к тому самому последнему гению эпохи.

Как оказалось, Теодор видел Виноградова, когда тот однажды приходил вместе с Никитой на заседание местного литературного объединения «Мрия». Теперь литераторы исключили его, и он лишён возможности публиковаться... Сегодня утром, заметив Фёдора на перроне, он решил, что это перст providения – у него как раз был на примете металл, но одному ему не за что с ним не управиться, а молодой человек, конечно, помог бы ему.

Поэт повёл Фёдора к себе домой. Виноградова пару раз вырвало по дороге, и он был так слаб, что нечего было и думать о сдаче металла. Поэт уверял, что имеющаяся у него брага в два счёта поставит Фёдора на ноги. Тому не оставалось ничего, кроме как согласиться. И вот, сидя на скамеечке, они пили это зелье, и вели пристрастный разговор.

*Фёдор. – Ха-ха! А ведь Хрущёв тоже не был трезвенником!*

*Теодор. – Без сомнения. Однажды он, пьяный, нарядился в костюм Сталина, загримировался, и разгуливал по Кремлю. Заходит к Ворошилову и говорит с кавказским акцентом: «Клым, похоронылы мзня, да?» Тот в обморок, а Хрущёву смешно!*

*Фёдор. – Вчера, представьте, один тип, да вы должны его помнить – Никита, с которым мы приходили в «Мрию» – так вот он принес какой-то порошок и объявил его супернаркотиком. Потом пили водку. Много. А утром... Вы сами видели. Да, так я ехал в трамвае, и мне показалось, что мы сошли с колеи, и едем по газону, потом по набережной, потом – ныряем в канал, и всё глуже, глуже... Мне стало страшно, и я захотел выскочить. Я начал пинать ногами дверь, кто-то схватил меня, крики, ругань...*

*Теодор. – Каждое утро, когда я просыпаюсь, мне в глаза затекает свет. Он похож на простоквашу. Я хочу встать, но что-то душит меня, я задыхаюсь, я не могу пошевелиться. Потом испарина, и оно отпускает, но слабость проходит только к вечеру.*

*Фёдор. – Пониженное давление?*

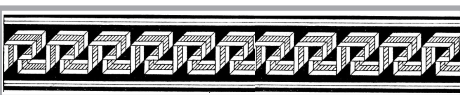
*Теодор. – Да, и помогает только самогон.*

*Фёдор. – Мне тоже, с недавних пор.*

*Теодор. – Слушай, политический анекдот. Встреча на Эльбе, солдаты братаются, и Джон говорит Ивану: «А всё-таки у нас свобода слова. Я, например, могу выйти на площадь перед Белым домом, и кричать «Долой Трумэна!», и мне за это ничего не будет». Иван говорит: «Подумаешь! И я могу выйти на площадь перед Кремлём, и кричать «Долой Трумэна!» и мне тоже ничего за это не будет».*

*Фёдор. – Ха, это класс! Знаете, мне кажется сейчас, что мы – это не мы.*

*Теодор. – Мы немые, это точно. Сколько раз я пытался сказать, выстроив свою мысль логично, правильно и симметрично. Проклятье! Я пытался сказать, внятно, гордо, как человек человеку, но – у меня не получалось. Ничего не выходило, о, чёрт! Я удивлялся, нервничал, но ничего не выходило. Я, как Геракл, боролся с душившей меня немотой. Бесполезно, бесполезно... Тогда я пытался шептать, выговаривать слова по слогам –*







без толку!.. Приходила ярость. Взъярившись, я стал реветь и выть, и тогда только вопль вырвался из моей груди. Вопль! Где же была моя мысль, которую я выстроил по законам здравого смысла? Вопль... Да, мой друг, так я и стал сумасшедшим.

Фёдор. – У меня есть одна знакомая. Она говорила, что к ней в гости повадился дьявол.

Теодор. – Я чёрта позвал, он явился в мой дом

И, право же, многим меня изумил.

Он вовсе не глуп, не уродлив, не хром,

Напротив, изящен, любезен и мил.

Фёдор. – Гейне. Я читал его, несколько лет назад. Видите ли, я был германофилом. Помните у него поэму «Герма...

Теодор. – «Германия. Зимняя сказка». Как же, как же!

Фёдор. – Да, так я плакал, читая её, молил, чтобы император Фридрих проснулся скорее и восстал... Я о многом тогда молил, но, к счастью, ничего не сбылось. А от германофильства сейчас осталось только пиво. И то, после вашей браги, я, видимо, разлюблю и его.

Теодор. – Гейне был евреем, но его разбил паралич. Парадокс!

Фёдор. – В школе я ухаживал за одной евреечкой. Чтобы угодить ей, я всё время писал ей записки с одинаковым содержанием – звезда Давида. Однажды она пожаловалась учительнице, решила, что я её оскорбляю. Вообразите, потом директор, завуч и психолог отчитывали меня, обвиняя в антисемитизме!

Теодор. – Парадокс! Парадокс!

Фёдор. – Знаете, я себя прекрасно чувствую. Где ваш металл?

Теодор. – В сарае. Ты точно в порядке?

Фёдор. – На все сто.

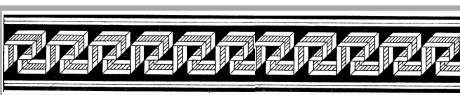
Около двух часов того же дня студент Виноградов и поэт Теодор двигались в направлении пункта приёма металлолома. Заметно потеплело. Облысевшие за ночь деревья весело тянулись к солнцу, а молоденькие берёзки вдоль шоссе даже выпустили клейкие листочки, как весной.

Путники пробирались глухими улочками, отчасти, чтобы сократить путь, отчасти, чтобы избежать встреч с милицией. Навстречу попадались торопливые пенсионерки, улыбчивые школьники, серьёзные мужчины в демисезонных куртках. Фёдору было весело глядеть на них, они казались ему грибами, выпавшими после дождя, крепенькими и блестящими, и, возможно, совсем даже не червивыми.

Теодор тащил тележку, доверху нагруженную арматурой и металлическими деталями, среди которых особенно ярко бросалась в глаза электропечка. Заданием Фёдора было тащить две длинные трубы, и следить, чтобы ничего не упало с тележки.

Улица продолжала свой змееобразный изгиб между ярко выкрашенных лимонных домов. Где-то истошно вопил младенец, на деревьях повисли, оглушительно чирикая, воробы. Фёдор терялся в ослепительно-жёлтом дне, а железные трубы, которые он волок за собой по земле, скрежетали созвучно его мыслям.

Теодор много говорил, его речь была сбивчивой, но полной метафор и





всяческой экспрессии. Он буйно жестикулировал, едва не переворачивая при этом тележку. Он цитировал стихи и прозу своих любимых авторов, причём сообщал их биографические данные невероятно точно, словно читая из энциклопедии. Виноградов слушал с интересом, но весёлость его мало-помалу улетучивалась, и наступил момент, когда болтовня его спутника начала раздражать. Фёдор внимательно посмотрел на поэта. Его поразили руки, со скрюченными от алчности пальцами, и профиль, напоминавший какого-то гнома. В походе Теодора он ощутил нечто птичье, нечто гаденькое появилось и в его улыбке. Стариковский голос звучал плаксиво.

«Зачем я с ним иду? Металлолом? К чёрту металлолом. Это просто предлог, предлог. Фу, как от него прёт!» Фёдору вдруг стало невыносимо противно, он зажмурился, надеясь отделаться от этого чувства. Увы, чувство осталось, и даже усилилось во сто крат. «Я больше не могу терпеть этого старикашку. Бежать!»

Трубы с протяжным стоном ударились об асфальт. Фёдор не расслышал, что кричал ему вдогонку поэт. Он ничего не слышал. Он бежал по грязным улицам, а из посеревшего неба капал холодный дождь. Теодор пожал плечами и кое-как взгромоздил трубы на тележку. Не возвращаться же? Теперь дойти только до лодочной станции, а оттуда метров пятьдесят до места. Придётся идти.



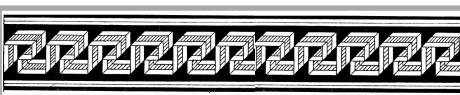
#### ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Дождь лил как из ведра, в больших медных лужах плавали гниющие листья. По разбитым дорогам с фырканием проносились автомобили, обдавая грязью пешеходов. Поднялся ветер, вырывая из рук несчастных, обрызганных людей зонты. Одинокая дворняжка шмыгнула в подворотню, поджимая хвост и шлёпая лапами по чавкающей глинистой почве. Экое месиво!

Через час ветер усилился, и похолодало. Шёл уже не дождь, а мокрый снег, таявший у самой земли.

Удрав от Теодора, Фёдор вернулся домой. Родителей не было, чему он немало обрадовался, так как его внешний вид был ужасен. Он сбросил испачканную одежду и залез в горячую ванну. Шампунь приятно пахнул, всё вокруг сияло чистотой, всё было в полном порядке. У Виноградова на глазах блеснули слёзы, когда он подумал, как постыдно он поступил с поэтом. Непонятно, зачем было убегать от него, не объяснив? Но ведь ему стало так мерзко в какой-то момент, это была тошнота, которой не вынести, ощущение из глубины заброшенной шахты его подсознания. Лёжа в тёплой воде, Фёдор рыдал от отчаяния, завладевшего всем его существом, и ещё больше – от жалости к этому отчаянию. Ведь он же не от Теодора бежал, он от себя бежал. «Тьфу, как хрестоматийно!»

Фёдор Виноградов играл на скрипке, откинувшись в кресле. «Не хватает только трубки. И кокаина». В комнате убрали; книги на полке вновь были аккуратно расставлены чужой рукой. Несмотря на непогоду, форточка оставалась открытой, и звуки скрипки вытекали на промозглую улицу,





смешивались с влажным воздухом, и, как хамелеоны, принимали окраску окружающего мрака, тонких лучей, чернильных деревьев, пёстрых уличных огоньков. Эти звуки уже не были доступны человеческому слуху, но кудлатая дворняжка, забившаяся в уютную щель между мусорными баками, повела ушами, уловив колебания тишины. В следующий момент, однако, её внимание привлекли торопливые женские шаги. Она почувствовала даже учащённое дыхание – проходящая явно торопилась...

Олеся Верховская только что закончила свои занятия в библиотеке и теперь направлялась домой.

Зонта у неё не было, но идти было недалеко: переулок, и сто метров по проспекту Советов. Она не глядела под ноги – всё равно грязь везде. На другой стороне улицы девушка заметила сутулую фигуру человека с пустой тележкой – он едва переставлял ноги и, видимо, был сильно пьян. Её куртка намокла, и стало очень холодно, так что она ускорила шаг. «Терпеть не могу идти в темноте по улице, когда машины едут навстречу – фары так слепят глаза».

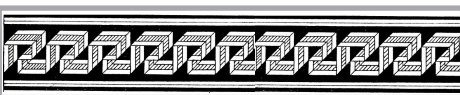
Эта невзрачная, на первый взгляд, девица училась в одной группе с Инной и Федором. Олеся занималась со старанием, которое не приснилось бы им даже в кошмарном сне, и была действительно блестящей студенткой, но с ней не дружили. И никому не было дела до неё, скользкой по окоченевшим улицам, даже бродячей собачонке, даже туману, который теперь покрывал город сладковатой влагой...

Олеся была невероятно хороша собой, хотя и не подчёркивала никогда свою красоту. Её обыкновенно видели в синем стареньком свитере, джинсах и с коричневой сумкой, всегда полной книг. Тёмно-русые волосы опрятно уложены, минимум косметики на лице. Робкая и застенчивая, она обладала голосом невероятной глубины и силы, за одно звучание которого её нужно было полюбить. Она страдала эпилепсией, и, возможно, именно поэтому интересовала Фёдора Виноградова, который с жадностью вглядывался в её лицо, в ожидании судорог. Это и в самом деле однажды произошло. Её черты исказились, и она замерла в напряжении, а через секунду рухнула на землю и забилась, как придушенная курица. Её губы, источающие пену, запомнились ему навсегда. К Верховской бросились стоящие рядом люди. Они наблюдали приступ, и их очень занимали содрогания тонкого тельца; вскоре больной была оказана помощь. Виноградов терпеливо ждал продолжения.

Олеся жила в очень старом доме; её квартира находилась на последнем, четвёртом, этаже. На площадке, выложенной обветшалым паркетом, друг напротив друга, возвышались две двери, а сверху было нечто вроде купола (если смотреть снаружи, казалось, что крыша оканчивалась башенкой). Через мутные стёкла окошек вливался ночной рассеянный свет. Лампочка не горела, и девушка с трудом нашла нужный ключ, поочерёдно проверяя каждый из толстой связки.

Обитателями квартиры № 48 испокон веков являлись Олеся и её сводная сестра Катя. Раньше с ними жил дедушка, ветеран войны, потерявший руку под Сталинградом.

Отец Кати, бывший при советском союзе заведующим крупным продовольственным магазином, после перестройки пытался торговать мукой, но вскоре разорился. Мать обеих девушек к тому времени уже давно не давала







о себе знать, сбжав с каким-то грузчиком, и Григорий Иванович должен был содержать двух девочек и тестя-калеку. Он вертелся, как белка в колесе, и поставил на ноги старшую: Олеся поступила в институт. Младшую, четырнадцатилетнюю Катю, считали недоразвитой, и ни педагоги, ни сам Григорий Иванович не связывали с бедным, заброшенным ребёнком никаких надежд. Она училась в интернате на окраине города, и приходила домой только на выходные.

Первое, что увидела Олеся, войдя в квартиру, была тонкая полоска света, льющегося из-под двери в комнату младшей сестры.

– Катюша! – позвала её девушка. Ответа не последовало, но послышалась возня и приглушённые голоса. Один, как разобрала Верховская, принадлежал Кате, а второй, мужской, неизвестно кому, ведь отчим два месяца назад уехал на заработки, и должен был вернуться не раньше Нового года. Когда она попробовала войти к девочке, дверь оказалась запертой изнутри.

– Катя, открой! – сказала Олеся очень ласково, но на лице её отражалось крайнее беспокойство. Она, конечно, знала о психической болезни сестры, о её крайней доверчивости. «Катя, Господи, кого же ты притащила с собой?»

Прошло несколько минут. Девушка раздумывала, молотить ли кулаками о грязно-белые доски или сбегать к соседям за топором и разнести проклятую дверь в щепки, или стоять, прижавшись щекой к поцарапанной поверхности, и ждать, пока имбецильная сестрёнка не впустит её к себе.

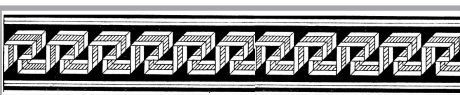
Вокруг Олесиного тела, застывшего в нерешительности у входа, сгущалась тишина. За стенкой плакал ребёнок, на кухне гудел холодильник, и вода хлюпала в трубах. Тикали часы. Почему-то эти звуки не воспринимались, как таковые, они входили в тишину и даже составляли главную её часть. Исчезни они, воцарилось бы безмолвие. А это страшно.

О, она знала, что такое страх. Во время последнего приступа Олеся познакомилась очень близко с этим хорошо воспитанным господином, который всегда приходил, обутый в войлочные туфли, – неслышно и незаметно подбирался к ней сзади, и, схватив за волосы, заталкивал вату ей в рот. Мягкие волокна забивали глотку, она не могла сделать вдох и закатывала глаза; она задыхалась. Затем обильно выделялась слюна, вата намокала и становилась как намыленная губка, из которой так и лезет пена. Олеся, естественно, пыталась освободиться из его мёртвой хватки, падала, преодолев оцепенение, судорожно дёргалась, изгибалась червём, надеясь сбросить с себя гадкие ледяные руки, выплюнуть ненавистную вату. Борьба продолжалась несколько минут, а казалось, что вечность. Нельзя сказать, что она в конце концов побеждала – нет, ему надоедало возиться с ней. Он отпускал её и уходил, не оборачиваясь никогда, не обещая вернуться. Олеся знала, что он придёт вновь.

...Больная очнулась, когда подействовал укол. Тётя Галя, соседка, которая сидела на стуле у её постели, охнула и опустила газету, услышав слабый Олесин стон.

– Ай, как болит, – девушка прижала пальцем красную ранку на сгибе локтя, – синяк будет... Что произошло?

– Что ж ты, девка, в обморок грохнулась? Дед спит, если б же малая твоя хай не подняла, лежала б ты до утра.





– Малая? Катька, Боже! Тётъ Галь, кто там был?

– Где?

– У Кати. Она закрылась в комнате, я слышала там голоса: её и чей-то мужской...

– Бредишь, дочка, ой бредишь. Ну как бы она закрылась, ведь у вас ни замков, ни крючков на дверях ни одного нет.

– Тётъ Галь... – Олеся промямлила, ощущая, как на неё накатывает апатия. Неутомимая соседка продолжала болтовню, но девушке уже было всё равно. Она поняла, кто был в комнате у сестры.

– ...ты упала, а она давай хныкать, на корточках возле тебя села, целует, обнимает. Испугалась. Никого нет, так она давай в стенку мне стучать. Я-то не сплю, у Владика зубы режутся, так он орёт – хоть святых выноси, и ничем не поможешь... Так слышу – стучит. Я к вам – глядь, а дверь открыта, ты на полу, а Катька в стенку стучит, чуть не лбом. Думаю – всё, хана. Звоню в скорую. Приехали, говорят чё-то, я не поняла. Вегета... Короче, укол сделали, увозить хотели, а я не дала. Говорю, я посижу с ней, пока не проснётся. Да, они сказали тебе утром к участковому врачу зайти.

Галина Игоревна закончила свой рассказ и сочувственно посмотрела на Олеся.

– Спасибо вам за всё, тетя Галя. А сейчас идите спать, ведь ночь. Мне уже совсем хорошо.

Женщина пожала плечами, но поздний час и пережитая нервотрёпка взяли своё.

– Ну, как скажешь. Коли чё, зови.

– Не беспокойтесь, пожалуйста. Спокойной ночи.

– Спокойной. – И тетя Галя, подавляя зевок, ушла.

Возле кровати, на тумбочке, горел ночник. Вокруг него лениво вращался одинокий комар, как обречённый метеорит, притянутый планетой. Отблески лампы осыпали искрами стакан с водой, стоящий рядом. Девушка потянулась за ним и попила. Ваты во рту не ощущалось, но горло пересохло, и несколько глотков воды принесли облегчение. Олеся откинулась на подушки. «Катя спит. Хоть бы она проснулась и пришла ко мне. Господи, сделай так, чтобы она пришла».

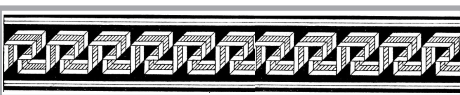
Она выключила свет и повернулась к неплотно зашторенному окну. Там, снаружи, сияла луна. Тучи унесло прочь, было морозно и безветренно. Белоснежный диск царил надо всем пейзажем – тонкие ветви тополей и соседние крыши почти звенели в полумраке.

Уже засыпая, Олеся успела заметить, что лунные пятна застыли на полу, выхватив из темноты лучом прожектора тапочек, ножку стула и Катюшин голубой мяч.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Фёдор вышел из кафе, с лицом, искривленным яростной гримасой. В ушах до сих пор раздавались пошленькие скрипочки, хохот и визг пьяниц, и похотливый шёпот Оли, и рыдания Гитлера.

Мимо пролетали иномарки, адским пламенем горели витрины. Здесь, в





центре города, можно было подумать, что находишься в миниатюрной столице. Но Виноградову не пришло на ум это сравнение. Он только обратил внимание на двух девиц, идущих под ручку впереди него. Одна из них сверкала металлическими каблуками-шпильками, другая обильно виляла полненьким задом. Фёдор увидел в движениях этих девушек ту же хищную и наивную плавность, которую ребёнком нередко замечал во вращении ручки мясорубки; к тому же, завитые волосы одной из малолеток, подхваченные повязкой, напоминали вылезающий из отверстий фарш.

Он шёл, куда глаза глядят, охваченный странными фантазиями. Гитлер пил брагу с Теодором, причём длинные ржавые трубы вздымались, подобно штандартам, и вопили о мщении. Троллейбус, неистовый треск сирены. Виноградов остановился в последний момент. Красно-оранжевый червяк зашипел и пополз, потрясая рогами.

– Фёдор! – раздался окрик, послышались торопливые шаги, чья-то рука легла ему на плечо, – лучше пойдём, нечего стоять посреди проезжей части.

– Почему же? Таким вечером, как сегодня, замечательно стоять, раскинув руки, и ждать, пока большой счастливый автобус не пригласит немного непослушные вихры, милая Олесенька, если ты понимаешь, о чём я...

– Ещё бы. Я... – оглушительный гудок и скрежет тормозов вишнёвого форда оставили фразу без завершения. В вечерний час движение в центре напряжённое, и прежде, чем друзья успели опомниться, серая волга «Овцебык» врезалась в багажник форда. Машина дёрнулась от удара и фарой слегка задела Олесю по ноге. Она вскрикнула.

– Бежим! – Виноградов схватил девушку за руку и потащил прочь. Краем уха он успел услышать третий удар: похоже, столкнулись ещё машины.

Они бежали, как во сне, перепрыгивая через какие-то камни, укрываясь от всевидящих глаз фонарей, спотыкаясь о пустоту. Остроухая кошка, которая притаилась в тени, готова была поклясться, что видела две скользящие по земле фигуры, за спинами их как будто бы развевались плащи, а лица были скрыты масками. Они держались за руки, и ни бешеные порывы ветра, ни препятствия на пути, ничто бы не заставило их разорвать нить.

– Ох, я больше не могу... Зачем ... – Верховская опустила на корточки, задыхаясь от бега.

– Зачем, это не то слово.

Они переглянулись. Возможно, до каждого теперь дошло, что именно он стал причиной ДТП, где погибли люди. Ведь тот шофёр форда, который затормозил, чтобы спасти Фёдора, теперь лежит на асфальте, с пробитым черепом, а рядом горят покорёженные машины?

– Ну, отдышалась? – тихо спросил Виноградов. Девушка кивнула. – Как твоя нога, болит?

– Не знаю.

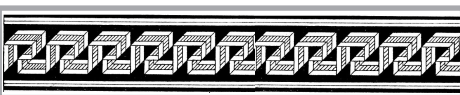
Он сел рядом с ней и аккуратно дотронулся до её коленки. Руки Фёдора слегка дрожали, то ли от усталости, то ли от волнения. Он резко сжал кулаки.

– Не страшно, какой-нибудь синяк. Пошли.

– Куда?

– Посмотрим... Может быть, нужна помощь.

– Не будь дурочкой. Там и без нас достаточно помощников, а ментам





только нас и надо.

– Тем более! Из-за нас, это всё случилось из-за нас! Тот водитель, он же спас тебя, понимаешь? – Верховская застонала и стремительно вскочила, направляясь обратно к шоссе. – Я виновна в смерти человека. Я сдаюсь.

– Олесья! – Виноградов тоже поднялся, и быстрыми шагами подошел к своей спутнице. – Послушай меня. Ты ни в чём не виновата. Ты хотела меня увести, это я заснул на дороге, как дурак... Не плачь, Олесенька, только не плачь...

Через пять минут он вёл рыдающую Верховскую по направлению к месту аварии.

– Ты только сама не высовывайся. Я посмотрю, и всё тебе расскажу, договорились?

Они остановились за домом, напротив которого случилось происшествие. Виноградов выглянул из-за угла. Толпа уже рассасывалась: только несколько зевак толпились поблизости. Наряду с двумя каретами скорой помощи юноша заметил одну милицейскую машину. Пострадавшие автомобили почти все уже были погружены в самосвал, только дымившийся вишнёвый фторд валялся на земле. Фёдор не знал, что с водителем, но наблюдения не предвещали ничего хорошего, так как кроме сильного, но не опасного для шофёра первого столкновения было второе. Передок был сплюснен, похоже, удар пришелся как раз «в лоб» несчастному. Сердце Виноградова болезненно сжалось. Кто знает, о чем он тогда задумался, но сероватая морщинка, прорезавшая его лоб, не исчезла больше никогда. Постояв с минуту, он вернулся обратно.

– Ничего. Я не видел пострадавших, их уже увезли. Пойдём отсюда. Хочешь, я провожу тебя домой?

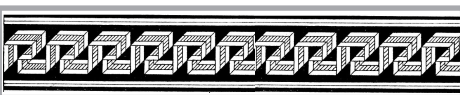
– Да.

Мрачен был их путь. Верховская больше не плакала, но время от времени шмыгала носом и вздыхала. Фёдор шёл молча, смотря перед собой. Насколько жалко выглядела Олесья, с распухшим носом и красными напряжёнными веками, вся какая-то сжавшаяся, потускневшая, настолько спокоен был Виноградов. Какое-то новое чувство шевелилось в нём. Как будто бы ветер сорвался с крыши и поднял его тело над землёй...

– Слышишь, Олесья? – он остановился и поднял вверх руку. – Там играют на скрипке. Я знаю эту пьесу. Моцарт. Послушаем?

Они стояли под окнами «хрущёвки», прислонившись к кирпичной стене. Внизу, на земле, стелились и гнили тополиные листья. Свет, льющийся сквозь угрюмые проёмы, застыл в лужах и в глазах отверженных. Никогда, он это знал, он не возьмётся больше за смычок... А она, разве способна она теперь осуждать мать за предательство? В этой осенней музыке отныне и навеки застыло одиночество. Дома на другой стороне – старинные, с остроконечными крышами и резными фасадами, последние детища имперского стиля, – тёмными громадами покоились на фоне серо-лилового неба. Ничто не освещало их каменные рёбра, только некоторые окна лепетали о том, что жизнь есть.

...В одном из окон, за квартал отсюда, видна была бледная мордашка непонятного ночного существа. Кошка, или, может быть, обезьянка... Катя,





недоразвитая сестра Верховской, разглядывала засыпающую улицу.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Что тоскливей призрачной дымки, осенью покрывающей землю перед наступлением настоящих сумерек? Холодные клочья тумана дрожат на ветвях деревьев, и воздух острый, как синее лезвие разбойничьего ножа. Темнеет, непреклонно темнеет, глаза вязнут в сгущающемся мраке... На противоположной стороне как-то неожиданно ярко горят фонари. Там же, вдалеке, за солёными от света лужами и нереальными в темноте грудями листьев, чужеродным элементом подбоченился металлопластиковый корпус супермаркета. В его бесстыдных евро-окнах видны люди.

Странно, разве они тоже – осень?..

Девочка спрыгнула с подоконника, привлечённая громким стуком: оказалось, ни с того, ни с сего со стола шлёпнулась книга. Её разметавшиеся страницы были бледны и беспомощны. Катюша осторожно, опасаясь сплунуть, подобралась к одинокому тому. Название было ей незнакомо, но сразу вызвало удивительную приязнь: «Братья Кармазовы», но она не была уверена, что правильно прочла, ведь стоял полумрак. Она положила книгу обратно на стол и замерла посреди комнаты.

Она внезапно услышала, что по лестнице поднимаются люди; это её сестра и кто-то ещё. Обычно, когда сюда приходили, Катя закрывалась в детской. Она чувствовала, что приносит другим раздражение и жалость, что на неё неприятно смотреть. Перед глазами вдруг вспыхнула сцена: мама, одетая в сырую медвежью шкуру, неистово пляшет, и прыгает на неё, чтобы перегрызть горло. Катя в отчаянии замерла, а потом бросилась под кровать. Теперь она в норке, и никто сюда не заберётся. Она в безопасности.

Ключ в замке повернулся. Вспыхнул свет в прихожей. «Мне можно войти?» «Конечно, будь как дома. Н-нет, не сюда. Проходи вот в эту комнату, посмотри книги, я сейчас». Послышались шаги, и появилась Олеся. Катя хорошо её видела сквозь специально проверченный глазок. Немного заплаканная, лицо усталое, но довольная. Глаза сейчас стали злые. Шипит.

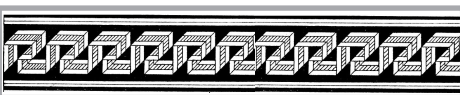
– Катерина! Ты где? Если под кроватью, то там и сиди. Долго сиди, пока я не позову. Поняла?

В ответ не раздалось ни звука, но она знала, что поняла. Верховская вышла, плотно притворив за собою дверь. Нет, с Катей проблем не будет.

В ванной она быстро расплела косу, расчесалась, тряхнула головкой и внимательно оглядела себя в зеркало. Да, у неё красивые волосы. Хорошо, что прыщик на щеке уже потух, теперь только след, царапинка. Она пополоסקала рот и ещё раз улыбнулась себе в зеркале.

Она уже направилась в гостиную, когда затрещал телефон. Прокляв про себя звонившего, Олеся сняла трубку.

– Добрый вечер, Александр Павлович. Помешали, но... Я же вам сказала, никаких рукописей у меня нет. Дедушка не может подойти к телефону. Позвольте, вы же навязываетесь! Библиотека здесь ни при чём. Давайте встретимся завтра, если вы так настаиваете, а сейчас до свидания. – Раздражённая, она бросила трубку на рычажок и задумалась. Настырный







человек этот Горбунов, он подошёл уже вплотную к разгадке. Он знает о библиотеке. Но об этом потом, а сейчас...

– Я не долго? – она обронила, подходя к Фёдору. Тот рассматривал книги в огромном шкафу, но, заметив Олесю, повернулся к ней, причём лицо его изображало живейшую радость. Какая гримаса стерлась, как ластиком, секунду назад, не знал никто.

– Любопытные есть экземпляры. Здесь, наверное, около тысячи томов?

– По-моему, девятьсот пять. Хотя... Дело ведь не в количестве.

– А всё же, чья это библиотека?

– Это странная история... Да нет, я расскажу, – поспешила она добавить в ответ на возмущённый жест Фёдора, – не присесть ли нам? Я... Может, кофе?

– Нет, благодарю. Я сгораю от нетерпения, Олеся.

Они сидели на потёртом диване, несколько напряжённые, с натянутыми улыбками, но уже в предвкушении увлекательного разговора.

Вообще, они не были хорошими знакомыми. Просто учились вместе, иногда перекидывались парой-тройкой фраз, но Фёдора всегда тянуло к Верховской, возможно, из-за особого ореола неприступности, которым она окружила себя с первого дня их знакомства.

Необычно было находиться в этой комнате, обставленной в стиле тридцатых годов, в окружении массивной тёмной мебели, правда, уже дряхлой, но ещё внушительной. На всём здесь лежал отпечаток былого благополучия. В глаза бросались кладки с какими-то продуктами, стоявшие в углу, и велосипедные шины, выглядывающие из-за кресла. Взгляд молодого человека заскользил по трещинкам между пыловатыми плитками паркета – к ножкам великанского книжного шкафа, и выше, через бесконечные коллизии переплёттов, к засаленным обоям на потолке, в царство пыли и тени.

– Итак, эта история началась в первые годы советской власти, когда мой прадедусь, Алексей Верховский, учился на медицинском факультете в МГУ. Он был подающим надежды студентом...

– В какой отрасли медицины?

– Какая разница. Но, если тебя это так интересует, то в этиологии.

– Это как?

– Я не особо владею вопросом. Что-то связанное с изучением микробов.

– Ага. Но я тебя перебил, извини.

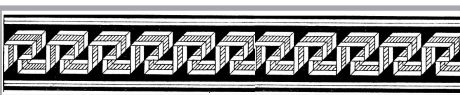
– Не страшно. Так вот, он посещал лекции одного профессора, я не знаю точно его имени, но это было светило тогдашней этиологии... Профессор отметил талант и усердие моего прадедуськи, и вскоре Алексей стал его ближайшим учеником, можно даже сказать, поверенным. Вместе они проводили опыты, исследования, публиковали совместные работы.

– Олеся, прости, что опять перебиваю, но, кажется, вода шумит? Ты не забыла закрыть кран?

– Кран? Нет, что за вздор?.. Впрочем, подожди, я проверю. – Лицо девушки несколько вытянулось, он с беспокойной поспешностью подошла к двери, открыла её и прислушалась.

Было тихо. Ни стука стрелок, ни звука капель. Катя, видимо, спала у себя в каморке.

– Послышалось. Продолжай, очень интересно.





– Да. Видишь, часы остановились. – Стену напротив шкафа занимали топорного вида часы, чёрного дерева, с медным маятником, на котором виднелись полустертые буквы дарственной надписи.

– По ним не скажешь, что они когда-либо шли. Но продолжай.

– Я, конечно, не в курсе подробностей. Короче говоря, профессор и мой прадедуська совершили какое-то открытие, не угодное советской власти. Я не знаю, что именно они нашли, но, видимо, это очень заинтересовало чекистов. Говорят, их допрашивал лично Дзержинский.

– Как ты думаешь, что бы это могло быть?

– Я не знаю. Это дело попало в руки ЧК, архив утрачен.

– Ясно. И профессора – «в Соловки!», конечно?

– Да. А мой предок каким-то образом ушёл от ответственности. Правда, в науке он уже ничего не достиг, переехав в этот город и проработав всю жизнь сотрудником нашей городской библиотеки. Книги профессора перешли к нему и находятся сейчас здесь, в этой комнате, кстати, за исключением самих исследований. Они исчезли бесследно. Но... – Олеся выдержала многозначительную паузу, – не знаю, стоит ли тебе рассказывать об этом, однако с тех пор все члены семьи Верховских страдают психическими болезнями. Алексей умер шизофреником, его сын сейчас страдает старческим маразмом в доме престарелых. Его внучка... о ней я не в курсе, его правнучка, это тебе известно, как очевидно, больна эпилепсией.

– Что же в действительности произошло тогда между профессором и его учеником? – Ты имеешь в виду, почему арестован был только профессор? Я не могу ответить на этот вопрос. Из предположений, которые у меня возникали, наиболее правдоподобны два. Первое: в последнем эксперименте Алексей не участвовал, а потому и не представлял для ЧК интереса. Не пойман – не вор, как говорится...

– И ты думаешь, это ничтожное обстоятельство спасло бы его от расправы, хотя все знали, в каких близких отношениях он состоял с опальным?

– Сложно сказать. Есть вторая версия: Алексей, почуяв антисоветский характер наметившихся результатов...

– Сам донёс на профессора?

– Почему нет? Я не склонна обелять ни своих родственников, ни себя. Указав на своего учителя, он спас свою шкуру. Я даже думаю, так оно и случилось. Тому есть подтверждение.

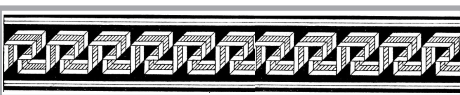
– Какие? – Фёдор с любопытством взглянул на свою собеседницу. Ещё до того, как она заговорила, его пыливый ум предугадал ответ, но что-то всё же заставило его спросить.

– Ты будешь смеяться. Я думаю, мы все в роду сумасшедшие именно поэтому, как расплата за предательство. – Тут она расхохоталась, неистово, размахивая руками, как идиотка, стуча ногами по полу. В этом он увидел невыносимую мерзость. Виноградов вскочил на ноги.

Олеся, окинув его тупым взглядом, проглотила последние смешки. Повисла неловкая пауза.

– Я заварю чай. Глупо сидеть просто так, не правда ли, а то пригрезнится чёрт знает что!

– Не нужно чаю, Олеся. Я пойду, уже поздно.





– Да, поздно. Я тебя провожу.

Они вышли в коридор. К сожалению, нервотрёпка только начиналась: комната Кати была приоткрыта. Её одежды не оказалось на месте, а, присмотревшись, Верховская с ужасом осознала, что входную дверь теперь заперли снаружи. Ключей не было.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Катя сидела под кроватью около четверти часа. В гостиной слышались оживлённые голоса – она разговаривала с кем-то. Лампочка давно перегорела, но огромные серые глаза девочки обладали редкостным свойством видеть в темноте так же, как и при свете. Только в сумерках она ощущала себя слепой. Выйдя из своего убежища, Катя затосковала. Как ни боялась она интерната, как ни унижали её учителя и одноклассники, там она никогда не грустила. В этих же стенах она не знала радости.

Ей не приписывали никаких чувств, кроме элементарных, присущих даже животным: голод, холод, страх. А между тем, она обладала такой эмоциональной палитрой, которую ни Олеся, ни другие не могли оценить, отрицая.

В голове Кати зазвучала мелодия, она принялась легко покачиваться ей в такт. Затем она опустилась на колени перед развалюхой, гордо именуемой пианино, стоявшей в углу с незапамятных времён. Вытащила три дощечки паркета, запустила в тайник ручонку и что-то сунула себе в карман. Воровато оглядываясь, поставила паркетинки на место. Подошла к шкафу, обители моли, затем к столу. Взгляд её упал на книгу. Она нежно погладила желтоватую обложку. Отошла в сторону. Голоса в гостиной звучали по-прежнему. Накинув курточку, Катя выскользнула из комнаты. Обулась, с замиранием сердца повернула ключ в старинном замке. Миг, и она на свободе. Хитрющая улыбка озарила её сухонькое личико. Кивнув кому-то в знак согласия, она вытащила ключ из замка и затворила дверь. Немецкий предохранитель сработал идеально – «она и он остались запертыми в квартире со своими головами», как со смехом отметил голос в русоволосой голове дебилки.

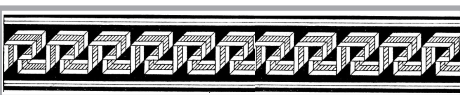
Олеся бросилась к двери, и принялась дёргать за ручку, как безумная.

– Она меня заперла! Она ушла!

Виноградов стоял, скрестив руки на груди, и не вполне осознавал, что происходит. После недавнего разговора он воспринимал всё как фарс, неизбежный в обществе такой неуравновешенной особы, как Олеся Верховская. «И не только!» – и перед ним живо предстали события последних дней...

Девушка тем временем перестала кидаться на дверь, уселась на корточки у стены, подперев покрасневшее лицо руками, и бессмысленно уставилась в одну точку. Фёдора охватило горячее сочувствие: да и нельзя было не пожалеть это маленькое беспомощное существо, так отчаянно штурмовавшее запертую дверь, а теперь покорно сидящее на полу.

Он сделал было попытку утешить Олеся, но та вдруг вскочила и лихорадочно метнулась в ближайшую комнату, куда до этого не пустила самого Виноградова.







– Это какой-то кошмарный бред, – прошептала она из темноты.

Фёдор, движимый скорее неизбежностью, чем любопытством, последовал за хозяйкой квартиры.

– Лампочка не работает...

– Перегорела, наверное.

– Да... Фёдор! Как же она... сидела здесь всё время? Но я же видела, вчера, когда она была там с ним, из-под двери лился свет... Ой, это бред. Я не знала, что лампочка испортилась, а она не говорила ничего... – Олесин голос сорвался и задрожал. Виноградов понял, что сейчас она опять будет плакать, и очень расстроился – он не мог выносить женский плач.

– Олесья, ответь на один вопрос.

– Что? – пробурчала она, раздражаясь его поведением, а пуще своим собственным.

– Какое сегодня число?

Не проронив ни звука, она повернулась и подошла вплотную к спокойно-язвительной фигуре Виноградова.

– Ты находишь это забавным?

– Нет, Олесья. Это всё скучно. ЧК, сумасшедшие родственники, исчезнувшие документы. Дверь. – Он улыбнулся так лучезарно, что сам удивился теплоте, охватившей его губы. – Кого ты здесь прячешь, девочка моя?

Глубокий вздох. Она обвила руками его шею.

– Уже никого. Птичка упорхнула, а нас заперла в клетке... У меня есть сводная. Сестра. Слабоумная. Я ото всех её прятала. До сегодня. Она сбежала.

– Её нужно найти.

– Да. Хотя ей четырнадцать, она мыслит, как семилетний ребёнок.

– Видимо, нет, если она додумалась закрыть нас здесь, чтобы мы не сразу начали поиски.

– Нет... Это на неё не похоже. Случайно захлопнула дверь, и сработал предохранитель.

– Можно попытаться открыть. Есть скрепка или шпилька?

– Сейчас поищу.

Фёдор осмотрел дверь. Система, надёжная, как дважды два: открывается только при повороте одновременно ключа и ручки предохранительного замка.

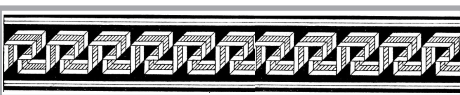
– Вот скрепка.

Повозившись немного, он наугад просунул импровизированную отмычку в скважину и повернул ручку. Неожиданно раздался щелчок, и дверь открылась, как по волшебству. Фёдор присвистнул от удивления.

– Послушай меня, Фёдор Виноградов. Я не имею права тебя просить после всего этого, но, – она выдержала актёрскую паузу, – помоги найти Катю. Откажешься, и будешь тысячу раз прав. Но помоги мне найти её.

Он согласился. Искать слабоумного ребёнка, ночью, в сопровождении её нервической сестры – а разве лучше пьянствовать с Гитлером или лежать в наркотических объятиях Ольги? Хотел сказать: «Одевайся, у нас мало времени», но не успел.

...Верховская не слышала, как он подошёл. Она только замерла в изнеможении и с дьявольским криком рухнула на пол.





«Пришла, пришла падучая!» Странная фраза промелькнула в сознании Фёдора. То отдавая себе отчёт, то скрывая – он мучительно ждал, когда повториться приступ, чтобы наблюдать всё до мельчайшей чётрочки её синюшного лица, чтобы не пропустить ни одного содрогания искажённого тела; и вот, он был не в силах смотреть. Задыхаясь от охватившей его тошноты, Фёдор выскочил в подъезд, зазвонил в соседнюю дверь. Никто не отзывался. Он не смог бы сказать, сколько времени прошло, пока сиплый, заспанный голос не побормотал какую-то ругань.

– Кто там?

– Помогите, человеку плохо!

– Имя?

– Проклятье, откройте, она умирает!

– Пошел на... – затем какой-то шум, и из-под двери брызнул свет. Другой голос, женский, монашески зашептал:

– Кто умирает?

– Ваша соседка, Олеся Егоровна Верховская, – процедил сквозь зубы Виноградов.

Дверь приоткрылась, но, как видно, оставалась на цепочке.

– Олеся? Это что, судороги опять? – из небольшой щели показался недоверчивый нос Галины Игоревны.

– Эпилептический припадок. Вызовите скорую. – Фёдор вычурно поклонился и пошёл вниз по лестнице.

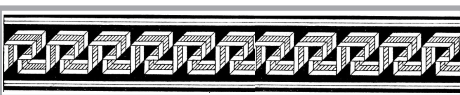
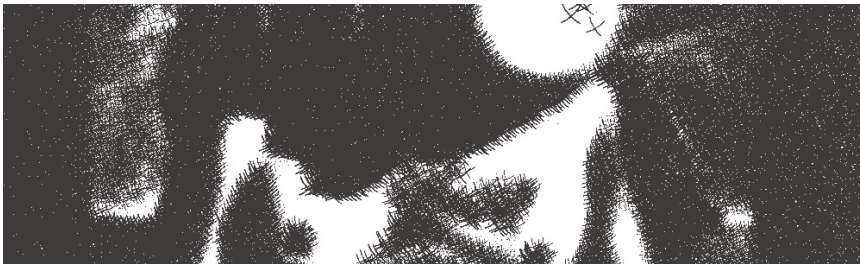
– Э-э-э! Куда, молодой человек, куда вы?!

Виноградов с упоением вдохнул колючий ночной воздух. «Итак, куда теперь? Ах да, искать сестру. Она не могла уйти далеко. Только в какую сторону?» Он огляделся.

Дом стоял вдалеке от дороги – под окнами раскинулся небольшой сад, обмётанный бурыми листьями. В глубине, среди кустарников, вился дымок; кто-то жёг завяль. За домом протекала широкая улица, с кафе, магазинами, супермаркетами, выложенная цветными плиточками.

Справа и слева громоздились другие дома, тоже ничем не примечательные. Оставалось два пути: либо вверх, к вокзалу, либо вниз, по направлению к окраинам города, где большой одичавший парк, канал, и закрытая по случаю осени лодочная станция. Виноградов вспомнил, что где-то в той стороне был пункт приёма металлолома, куда он так и не дошёл тогда, с Теодором.

Не раздумывая больше, он двинулся по улице вниз.





**Антонен Арто**

(1895–1948)

*Французский поэт, актер и режиссер, снискавший известность главным образом своей радикальной программой преобразования драматического искусства, особенно идеей «театра жестокости». По своему воздействию, утверждал Арто, театр схож с чумой: он «заставляет людей увидеть, каковы они на самом деле, он срывает маски, обнажая ложь, распущенность, низость и лицемерие мира». Практические опыты Арто основывались преимущественно на использовании невербальных элементов театра (звук, свет, жесты, мимика), подчиняясь задаче покончить с «диктатурой речи». Основная работа, посвящённая проблемам театрального искусства – «Театр и его двойник».*



*В двадцатые годы Арто примкнул к движению сюрреалистов, постулировавших примат бессознательного над рассудком. Стихотворения, переводы которых даны ниже, относятся именно к этому периоду.*

Л. О.

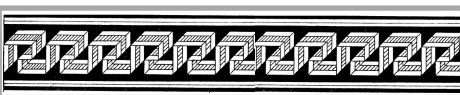
**ЭКСТАЗ**

Серебряный костёр, точёный жар  
Полон музыкой внутренней силы  
Жар, который на волю пустили...  
Мир – с него снятая кожа.

Изнуряющий поиск «Я»  
Проникновение, происходящее вновь  
Ах! Единить ледяные костры еретиков  
И дух, помывший эту явь!

Извечная бездонная погоня  
В утехах изливается, смеясь  
ЧУВСТВЕННОСТЬ, экстаз –  
В кристальном истинном звоне.

О, музыка чернил, она  
В угольях похоронена, такая –  
Сладкая, тяжёлая – нас освобождает,  
Фосфорных тайн полна.





## ДЕРЕВО

Дерево и его дрожь  
мрачный лес воззваний,  
криков  
пожирает тёмное сердце ночи.

Молоко и уксус, небо, море  
небосвода плотная масса  
всё способствует шелестенью,  
что ютится в вязком сердце тени

Сердце – разрывается, небесное светило –  
раздваивается, плавится в небе,  
в небе – прозрачном, осколками павшем,  
по призыву солнца звонящего.  
У всего этого тот же, тот же трепет,  
Как и у ночи и дерева посреди ветра.

## НОЧЬ

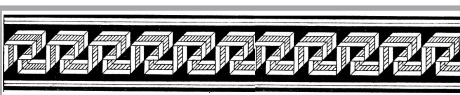
Барные стойки в притонах  
дождь ползёт на луну  
на проспекте – окно,  
а в нём – обнажённая женщина.

В бурдюках из набухшей ткани,  
где целая ночь дышит,  
поэт чувствует, что его волосы  
растут и размножаются.

Потолков отупелые лица  
созерцают удлинённые тела  
между небом и тротуаром  
жизнь – обильный обед.

Поэт, трудящимся  
не на что смотреть вместе с луной  
дождь – свеж  
желудок – хорош.

Гляди, как бокалы взбираются  
на все столики земли  
жизнь – пуста  
голова – далеко.





Где-то размышляет поэт  
нам не нужна луна  
голова – велика  
мир – полон.

В каждой комнате  
содрогается мир  
жизнь рождает кого-то,  
кто лезет на потолок.

В воздухе плывёт преферанс  
вокруг стаканов  
пары – винные, поэтические  
табачный дым литературных кафе.

В углах потолков  
всех трясущихся комнат  
скапливаются испарения моря –  
плохо созданные мечты.

Потому что здесь жизнь – причина,  
мысли идут из желудка  
бутылки выталкивают черепа  
из воздушных собраний.

СЛОВО прорастает сном  
как цветок, как стекло,  
полное форм и паров.

Стекло сталкивается с утробой  
жизнь ясна  
в остеклённых черепахах

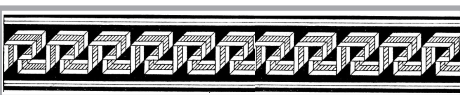
Пылающий ареопаг поэтов  
собирается на зелёном ковре  
пустота поворачивается

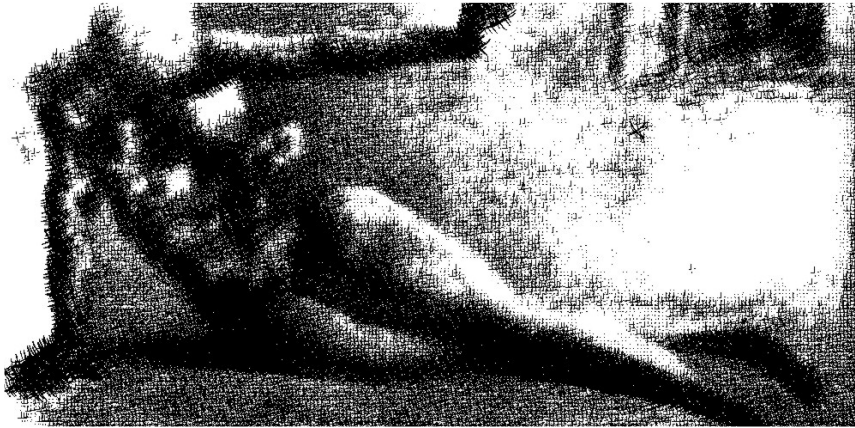
жизнь проходит в сознании  
поэта с густой шевелюрой.

На улице только окно  
слышен стук карт  
в окне любвеобильная женщина  
выносит свой живот на обсуждение.



Перев. Л. Оксенъ





**Грегори Корсо** родился 26 марта 1930 года в Нью-Йорке и скончался в Миннеаполисе 17 января 2001 года. Несмотря на то, что пик творчества Корсо приходится на 60-ые, он пользовался большим влиянием до самой смерти. После того, как первый сборник его стихотворений «Весталка и другие стихотворения» (*The Vestal Lady and Other Poems*, 1955) выходит в издательстве City Lights, Корсо становится одной из заметнейших фигур в среде битников: так, он выведен в образе харизматического Юрия Григоровича в романе Джека Керуака «Подземные».

Поэзия Корсо характеризуется свободной формой, многочисленными аллюзиями, необычными метафорами и мрачным юмором.

Ниже приведены переводы стихотворений, вошедших в сборники: «Весталка и другие стихотворения» – 1955, «Бомба» – 1958, «Весёлый день рождения Смерти» – 1960.

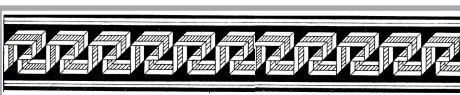
Антон Куликов

### Грегори Корсо

#### ПОСЛЕДНИЙ ГАНГСТЕР

Стою у окна и чего-то жду,  
ноги в ботинках, удобных, как трупы чикагских бутлеггеров  
Я последний гангстер – ничто мне не грозит,  
жду чего-то за бронированным стеклом.

Смотрю на улицу, и вдруг – они!  
двое головорезов из Сент-Луиса







Я помню их ещё малолетками  
...Ржавые стволы в их старческих руках.

### «ВЕСНА» БОТТИЧЕЛЛИ

Ни признака весны!  
Флорентийские стражи  
на ледяной колокольне  
ждут знамения –  
Лоренцо снится синяя птица  
Ариосто палец сосёт.  
Микеланджело сидит на кровати  
...разбуженный тоской.  
Данте накидывает свой бархатный капюшон,  
его глаза бездонны и грустны.  
Его громадный дог рыдает.  
Ни признака весны!  
Леонардо шатается по опротивевшей комнате  
...глазами сверлит вечный снег  
Рафаэль ложится в тёплую ванну  
...его шёлковые волосы пересохли  
от недостатка солнца  
Аретино вспоминает Весну в Милане; свою мать,  
дремлющую на его прекрасных холмах.  
Ни признака весны! Совсем!  
Ну, наконец-то! Боттичелли распахивает двери своей мастерской.



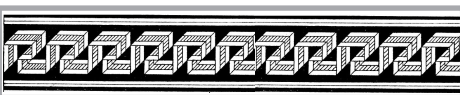
### ИТАЛЬЯНСКИЕ СТРАННОСТИ

Новорождённый сын синьоры Ломбарди мёртв.  
Я видел его сморщенный лиловый трупик  
В похоронном бюро «Риццо».

Они только что отстояли помпезную мессу;  
И вот выходят на улицу  
...Боже! Малюсенький гробик!  
И десять чёрных Кадиллаков ползут за ним.

### СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕРИОД ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ

Я прикоснулся к той, что порождает в детях страх.  
Я прикоснулся к ней, и сохранил её прикосновение,  
Это произошло 31 год назад,





И с тех пор все другие были не в счёт.  
Я познал ту радостную смерть, чтобы стать взрослым.

### СПЯТИВШИЙ ЯК

Я спокойно наблюдаю, как они сбивают мои последние сливки.  
Они ждут, когда я откину копыта;  
Они норовят надеть пуговиц из моих костей.  
Где же мои сестрёнки и братишки?  
А этот дылда-монах в новой кепке выучит моего дядю.  
А этот придурок-студент, зачем ему шарфик?  
Бедный дядюшка покорно всё терпит.  
Как он грустен, как устал!  
Интересно, что они сделают из его костей?  
И его миленького хвостика!  
Кипу шнурков, по всей видимости.

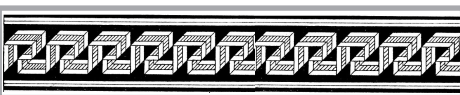
### В МОРГЕ

Я помню, что видел их фото в прессе;  
Нагишом они казались сильнее.  
Судя по пуле в брюхе, я был мёртв.  
Я видел, как бальзамировщик отвинтил стеклянную крышку.  
Он начал осмотр, улыбаясь свеженькому трупу,  
Затем он занялся двумя другими, лежащими напротив.

Когда ты покойник, ты не можешь говорить,  
Но кажется, что мог бы.  
Эти гангстеры напротив –  
Их попытки говорить так смехотворны.  
Они шевелили тонкими губами, показывая серо-синие зубы.

Бальзамировщик с улыбкой вернулся ко мне.  
Он взял меня на руки, как мать ребёнка,  
И усадил в кресло-качалку,  
Пнул его, и я стал качаться.  
Я был мёртв, но это ничего не меняло.

Моя рана всё ещё ныла. Боже!  
Разглядывать этих двоих под таким углом действительно  
странно.  
Здесь они выглядели иначе, чем на фото.  
Здесь они были моложе, гладко выбриты и атлетически сложены.





Эдвард Эстлин Каммингс  
(1894-1962 г.)

## ORIENTALE

I

я говорил с тобой  
улыбкой и ты не  
отвечала  
твои уста как  
аккорд малиновой музыки  
Иди же сюда  
разве жизнь не улыбка?



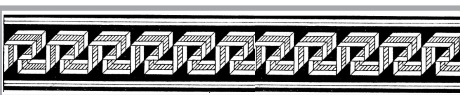
я говорил с тобой  
песней и ты  
не слушала  
твои глаза как ваза  
божественной тишины  
Иди же сюда  
разве жизнь не песня?

я говорил  
с тобой душой и  
ты не удивлялась  
твоё лицо как грёза пленённая  
теплым ароматом  
Иди же сюда  
разве жизнь не любовь?

я говорил с  
тобой мечом  
но ты безмолвствуешь  
твоя грудь как гробница  
нежнее цветов  
Иди же сюда,  
разве жизнь не смерть?

II

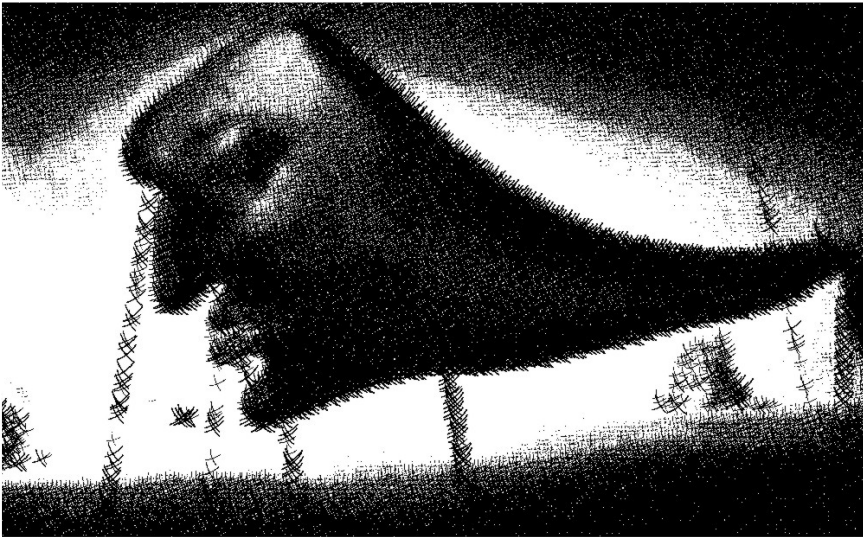
тонкие свечи алчут в  
тишине

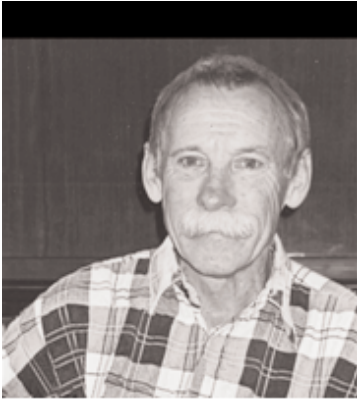




бронзовый бог  
улыбается среди зелёнощебечущих  
дымов из глаз разбитых  
звук  
хрипящих грудей звериный  
рык  
руки вонзаются в багровую  
тем –  
ноту  
фанатик  
распростёртый в дрожащей тени  
мечется  
хныча  
от похоти

перев. А. Куликов





**Леонід Талалай** - поет, критик, перекладач.

Народився 11 листопада 1940 р. на

Харківщині,

звідки разом з батьками переїхав до м.

Горлівки.

Відбув 3 роки служби в армії.

Навчався в Літературному інституті ім. М.

Горького

та на Вищих літературних курсах у Москві.

Був головою Донецького літературного

об'єднання.

З 1976 р. живе і працює в Києві. Автор

поетичних

збірок:

*“Журавлиний леміш”* (1967), *“Осіньні гнізда”*

(1971),

*“Високе багаття”* (1981), *“Глибокий сад”* (1983),

*“Луна озвалась на ім'я”* (1988), *“Така пора”* (1989), *“Потік води живої”* (1999) та

ін.

Лауреат багатьох літературних премій, в тому числі Національної премії ім.

Т. Г. Шевченка.

Представлені тут тексти приводяться із останньої (за часом) збірки перекладів з хорватської поезії.



### **Драгутин Тадіянович**

#### **JARDIN DU LUXEMBOURG**

Крізь залізни ворота увійшов я у сад:

Бронзовий Пан на сопілці грає

І на мою, певне, честь, хоч я незнайомиць,

Блакитні птахи летять у небі і відпочити

Вночі на дерева сідають і знову

Летять. Та не дивиться ніхто

На птахів. Алеї каштанів

З рядами зелених стільців. Невтомний

Фонтан. На скульптуру голої жінки, на мертве

Плече голуб злітає. Та на нього ніхто не звертає уваги.

Діти пускають кораблики по воді. На кониках

Катаються. Перегукуються. Кроком швидким

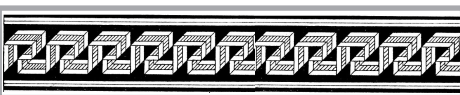
Наближається зігнута бабця

До молодих безтурботних негрів,

Що грають у карти на її стільцях

І здалеку їй білозубо всміхаються.

А на птахів ніхто не дивиться.





Чужинець схиляється (може, це я?),  
Щоб прочитати написи на постаментах фігур:  
У саду королі, герцогині, поети.  
В тіні пам'ятника CLEMENCE ISAURE  
Схвильована дівчина полум'ям чорних очей  
Обпалює п'тьох юнаків, що сидять прикуті  
Поряд із нею. Нудно їй: вона бути хотіла б  
Тільки з одним із них. А на птахів ніхто не дивиться.  
Стара пані проходить повз дівчинку, згадує молододість:  
У кам'них вазах квітицвілі і п'яніла вона  
В чоловічих обіймах, і птахи летіли  
Над ними, над деревами. Та їх не бачив ніхто.

### **Весна Парун**

#### **ДІМ НА ШЛЯХУ**

Я лежала в пилюці біля дороги,  
я не бачила його лиця,  
і він не бачив лиця мого.

Зірки опустивсь, і стало повітря блакитним.  
Я не бачила його рук,  
і він моїх рук не бачив.

Зазеленів, як цитрина, світанок.  
Крик пташиний очі мої розплющив.

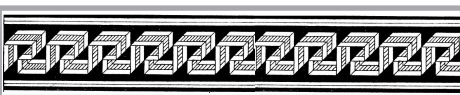
Тоді я впізнала, кого я любила  
ціле життя.  
Тоді він узнав, чиї цілував  
руки убогі.

І взяв чоловік свій вузлик і рушив,  
плачучи у свій дім.  
А дім його - пил на дорозі,  
як і мій дім.

### **Славко Михалич**

#### **ЩЕ ТРОШКИ ПОБУДЬМО**

Ми розкопали могили  
Що їх ми століття засипали з огидною  
самовпевненістю







Навіть каменя на камені не лишилося  
Від мурів які б нас спинити могли

І тепер ми крокуємо світом розкиданим  
Не відчуваючи єдності  
Хіба-що раптово не знати чий  
Впаде на голови наші крик

Ми більше себе боїмось, ніж когось  
Відчуваємо як піднімається в нас хтось більший  
за нас  
І не витримуємо погляду його  
очей  
Для яких перепон не існує

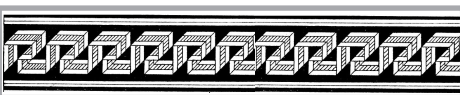


Ми розрили могили і мали б тепер  
будувати будинки  
Ще трішки, не кваптесь, почекаєм кінця самовільної  
гри  
Ще трішки побудьмо змією і птахом і  
квітом (якогось далекого поля)  
Ще трішки невтаємничених сновідінь

### **Милувий Славичек**

### **ВІРШ ПРО ВЕЛИКУ ГРУ**

Всі ми задіяні у великий гри, котра і назви не має.  
Та проходить усюди: на вулиці кожній і скрізь  
під дверима  
І за дверима. У полі єднається з небом.  
Вчимось ми, граючись. Хтось має голос солодший,  
хто нігті тихіші,  
Хто серце ширіше. Безпорадність німішу;  
чи мовчання  
В цій насиченій грі, де стільки пильних очей.  
І спітнілої тиші.  
Десь далеко співає самотня людина.  
Гарно гратись. І щоденно гострішає слух.  
Передчувається якась темна снага. Сила силенна  
тихих набудків.  
Годинник, німуючи, йде.  
О яка глуха тіснота! О як гратись чудово!  
Гратись і стати потім блідим як смерть,  
Яку переміг ти у грі, хоч вона і не знає про це.





Анджелко Вулетич

## ПЕКЕЛЬНА МАШИНА

Ніколи не смій  
забувати:  
рівна і струнка, ніби тополя  
із небесного лісу,  
крокує людина  
шляхом.

Перед нею все розступається, даючи дорогу.

Птахи її вітають, видихаючи спів  
ранковий.  
Людина йде своїм шляхом.

І перед її твердою  
ходом  
тремтить навіть чорна змія і втікає  
у хащі густі.

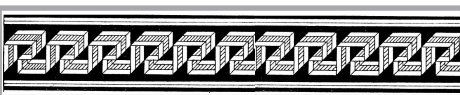
Людина йде по землі,  
та їй жодна зірка не рівня:  
дуби їй  
вклоняються низько,  
житні знамена і хвилі трави шумлять їй:  
щасливої дороги.

В поті лица свого  
людина крокує порожнім шляхом земним: і про це  
забувати не смій.

А невідступно за нею услід,  
як подих ніжного вітру, крокує  
і чорт і вся існуюча нечисть.

З окривавленими ногами,  
часом співаючи, часом стискаючи зуби,  
задивившись на обрій, людина  
спішить  
неоглядним світом.

Але не спить диявол, і за нею ступає  
крок у крок.  
І хто знає коли, в яку мить, якого дня





яка злива,  
яка хатина,  
яка ніч,  
а, може, чума чи голод зупинять цей рух.

Подорожній і переслідувач ляжуть  
опинившись в обіймах.

Крокували разом. Одна душа,  
одне тіло:  
справжня пекельна машина.

Напрямок  
більше не має значення.



*Данієль Драгоєвич*

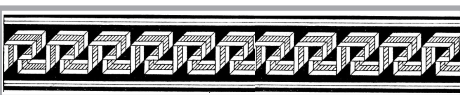
## ІНОДІ

Іноді, коли я терплячий  
кроки свої і слова повертаю  
у біле,  
біле,  
у тихе.

Того ранку дівчина не обрива пелюсток,  
а з різномірних боків  
на них наче леготом дивиться,  
заплющить очі,  
розплющить очі,  
підє.

Сад, та божа цитата, щедротно висвітлює вранішню  
душу, котру тішить усе те, що є і яке воно є:  
порох,  
голос,  
наймення.

Птиці співучий політ мерехтить,  
кидає тінь вогняну,  
а тим часом ти лічишморя і зірки,  
покоління і тіні,  
кличі і прощання.





**Стьєпо Мійович Кочан**

**ДУМИ МОЇ**

Думи мої, думи мої,  
де знайти мені розраду,  
добре знаєш нашу правду  
і не треба нам чужої,

і не треба нам такої,  
як ота, що нам підносить,  
а взамін все наше просять  
друзі з довгою рукою.

Нас своє лиш непокоїть,  
і своє ми захищаєм,  
як вони, в своєму краї...

Тільки ж світові байдуже,  
як нам тяжко, тяжко дуже...  
Думи мої, думи мої...

**Адріана Шкунця**

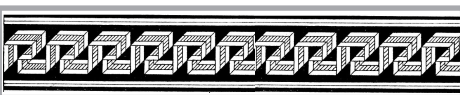
**ВЕРЕСЕНЬ**

над кугою  
сонце спалює  
останні палаци літа

мураха за собою  
тягне  
шарудіння листя  
в суху неміч

на землі ще тримається  
складка вітру

біля моря  
розчавлені слимаки  
поламані мушлі  
з урною піску  
на зашийку





повітря  
згорнуте  
в теплі зернята простору

репнула серцевина неба  
витрушується  
в гірку синь

**Милорад Стросевич**

### КОНВАЛІЯ



Пахнуть в метро конвалії, легеньки, як пух на протязі. І невагомий протяг метро стелиться пахощами, чи пухом під нами.

Помиляєшся, якщо думаєш, що спроможний ти це уявити, з болгарським Vinstonom з Одеси і перцівкою, яка завалює тебе в лососину, у м'ясо людське в холодильнику і в чеченську мафію, що згоряє у власній пристрасі.

Зависаєш між ангелами і сечею українок. Схиляєш голову в листя конвалій. Ти на такому місті, де неможливо стояти і де не росте нічого.

Охолоджується перцівка в готелі чеченському, а кавуся вистигне і сама в оці Висоцького, що хрипить в кінці коридору, так ніби він і не вмирав.

Сховався в гітару і струну і вже сам на себе не схожий.

Коли б не вдихнув аромату конвалій, то горло його охопив би вогонь, попіл спалив би пальці йому, і, хто знає, що сталося б із Висоцьким, коли б не післяобідній сон. Хоча б десять хвилин поспати поміж конвалій.

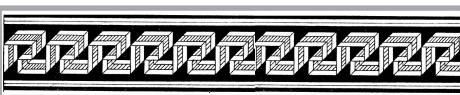
І, як я вже казав, та цього ви не запам'ятаєте, тому повторюю: конвалії і Висоцький.

Ось так. І ніщо не віщує дощу, під який я потраплю у Львові. Тоді, коли я заблукав між університетом Франка і якоюсь адресою поблизу готелю "Жорж", в якому спали усі знайомі. Крім мене.

**Анді Новосел**

### СТАРИЙ ДІД

старий дід  
і стара бабуся  
говорили трьома  
мовами





батько і мати  
говорять  
двома мовами -  
але хорватською  
тихо і потайки

донька і син  
говорять лише  
однією державною  
німецькою мовою

і політики наші  
та ділові люди  
стверджують  
це прогрес



*Міле Пешорда*

### ОСТАННЯ ВЕЧЕРЯ

Вечором хлібина не буде розломлена  
бо хліба немає  
бо руки немає

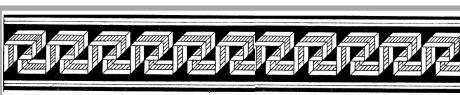
Вечором вино не буде розпитим  
бо вина немає  
бо келиха немає

Вечором яблуко не буде розрізаним  
бо яблука немає  
бо ножа немає

Вечором свічка не буде запалена  
бо свічки немає  
бо світла немає

Вечором нині не буде радості  
ані поцілунку  
ані любові

Вечором гостювати будуть лише пацюки  
а нас немає  
так нас немає







**Анка Жагар**

**ЛІС**

*Й. Ванішті*

ліс напишу і постане ліс  
і я вирушаю у ліс по дрова  
бо час надійшов зігрітись  
страшно мені  
і тому я співаю

співаю ліс але це не ліс - а я  
така принишкла така могутня  
стовбуриста і найприродніша  
намагаюсь пробитись хочу пробитись  
в той  
ліс

падають птиці в вуха мої із крон як листя  
та в лісі не вичерпать жменями страху  
та в лісі подвоєно дихаючи  
звірі очима круглими  
вогонь викрешують

що це було - спіткнулась раптово  
що це було - оголена випростаність

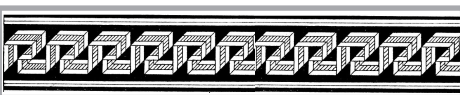
напишу я ліс а воно не ліс  
ясність очей  
потьмарилась



**Томислав Домович**

**ДОТОРК ЦЕ МАЛИЙ ДИКОБРАЗ**

приручений черв'ячок наших суперницьких  
самолюбств  
повза по стінах  
гризе штукатурку  
поки відлежуюсь на боку і хропінням турбую пір'я  
тебе відчуваю лише в третьому вимірі  
і саме тому





пориваюсь в четвертий  
із спогадами і валізою завжди потрібного пива  
просковзуючи крізь час  
щипаєш зграю еритроцитів  
лісорубові руку мою даруєш  
ламаюсь  
і врешті зломлююсь  
приймаючи форму трикутника там де ти крапала  
і куди діставала віхола люта  
і тоді мене вир смірчовий підіймає  
і я роздаю марнотратно на всі боки цілунки  
бо ти наближаєшся небезпечно біляста  
з судимою на лиці і трусиками нижче колін  
хоч осідлала блискавку  
і на друзьки розбиваєш балконні двері  
як легенький вітерець мого вірша  
хоча ти і гумус єси  
і все на тобі росте  
флора повільно в мені пригинається  
бо кожен твій доторк  
кактус ще одненька колючка на шиї затерплій  
малий дикобраз що борознить мілководдя третього  
вимиру

**Анка Петричевич**

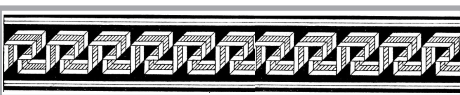
### КВІТИ МОГО ДИТИНСТВА

I

Я від Тебе пішла назавжди,  
але понесла у своїх очах  
тугу Твою безберегу.  
І коли на галявині вітер заквилить,  
вона в моїм серці заплаче.

II

В мені дихає каменя туга,  
часто плачуть в мені  
стрункі тополі  
при самотній дорозі,  
що веде вдалечинь.  
Біля них зупинитися більше не можу,  
щоб їм порадити.





III

Поведеш мене знову рукою білою...  
І піднімимось ми до зірок,  
аж до зірок,  
щоб торкнутися неба.  
І хода наша буде  
тихою, наче молитва.

IV

Коли ти спочинеш,  
Мамо?  
Не можу заснути,  
твою споглядаючи тугу.  
Ти ще молишся  
перед лампадкою,  
і не гасне сльоза  
у твоїх очах.



V

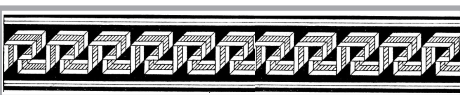
Заквилю із вітром,  
заплачу із вербами;  
розплету свою тугу  
над явором - мертвим братом,  
що зламаний сохне біля води.  
Більше над ним не пливе біла хмарка,  
і зірка на нього не дивиться.

VI

Мамо, нехай усе світло  
моєї душі  
осяє цю ніч.  
Хтось від мене іде  
тихим кроком.

VII

Коли вершників тупіт  
затих на шляху,  
пішла я дорогою білою  
в осяяну ніч.  
Хтось мене кликав...  
Може, то зорі мене збудили?

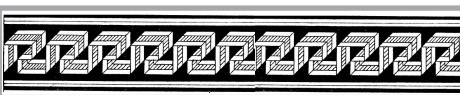


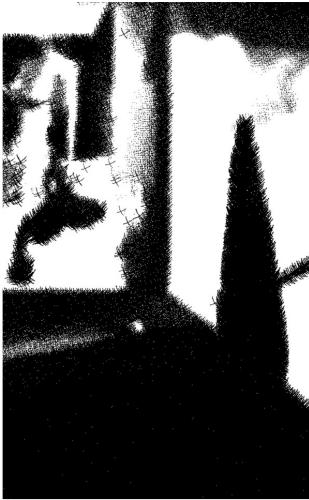


Може, то місяць спинився...  
Може, постукав Він  
у моє вікно.

VIII

Стояла ти нв порозі,  
очима повними сліз  
дивилася,  
як мене дорога веде за обрій.  
Не намагалася зупинити,  
бо знала,  
що зупинити не зможеш.  
Сама на порозі  
очима повними сліз  
ти дивилася,  
як за обрій від Тебе мене веде  
біла дорога.





**Николай Чайковский.** Живет и работает в г. Горловке, хотя темы и образы многих его стихов берут свое начало из впечатлений детства, *“которое прошло в селе Анновка Донецкой области. На берегу чистой и быстрой тогда речушки Сухие Ялы”* (Н.Ч.).

Автор поэтических сборников *“Месяц на рассвете”, “Жасминовая ветка”, “Русь не за холмами”.*

*“Первые стихи начал писать на речном пеке, на подорожной пыли, а позже не снегу Новой Земли, где я три года служил в армии.*

*Впервые напечатался в «Молодом целиннике» в 1962 году под именем моего брата Ивана.*

*Прожив 35 лет в Горловке, не забываю небо над родным селом, впервые увиденное глазами моей матери Евдокии...”*



\* \* \*

Написать бы стихи молоком облаков  
И на память их небу оставить  
Чтобы видели все и не трогал никто  
Разве ангелы только устами

1980 г.

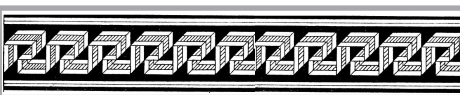
\* \* \*

Обживаю свое одиночество,  
Рассовав по углам свои дни,  
Из которых уйти мне хочется  
Да уйти не дадут они.

День придет – раздвигаю шторы,  
Ночь наступит – задерну их  
Свет и тьму разделяет шорох  
Штор и шагов моих

И покуда все это длится,  
Я возмущусь за любой пустяк,  
Чтоб с своим одиночеством сжиться  
Под удары часов «тик-так»...

1981 г.





\* \* \*

Есть окно, выходящее в сад,  
Есть снега, опушившие ветки,  
Есть огонь, поднимающий веки,  
И все это невидящий взгляд.

Словно им разодвинут предел  
И вот-вот ему на душу ляжет  
Все, чего никому он не скажет,  
Как бы это сказать ни хотел.

Но удержит невидящий взгляд  
И огонь, поднимающий веки,  
И снега, опушившие ветки,  
И окно, выходящее в сад.

1981 г.

\* \* \*

Земля струится снежным светом  
И, чистя черный небосклон,  
Шныряет радужная ветошь,  
Как «дворники», за ветровым стеклом.

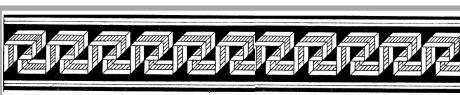
Такая бешенная скорость  
Планету мчит в ночную мглу,  
Что, разбиваясь, метеоры  
Текут, как капли, по стеклу.

Ход мироздания не слышен...  
Так тихо на земном борту,  
Что под ногою скрипнут лыжи  
И крик на целую версту.

1961 г. Новая Земля

### ДОМ НА ПЕСКЕ

Он сверкает,  
Как горный хрусталь  
Под лучами  
Прохладного солнца,  
Этот дом







Из стекла и металла.

Тонны света  
Над  
Бомбоубежищем –  
Дом из песка.

1972 г.

\* \* \*

О если бы какому великану  
Взять Землю в руки, как созревший плод,  
Пришлось, - ничуть не странной  
Ему бы показалась эта плоть.

Вот облака он сдул, как пену  
Сдувают дети с молока,  
И океан, что нам – полсвета,  
Ему б росинкой засверкал.

Леса, как персика пушок,  
Примяты пальцами гиганта  
И как-то пахнут хорошо  
Неотразимым ароматом.

Про то, что водится в лесах,  
Гнездится повсеместно,  
Отведав, он бы смог сказать:  
- Микробы, но полезные.

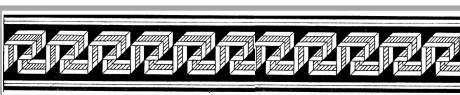
### МИР

Мы слово мир сложили из мечей.  
Воздеть один – воспрянут остальные.  
Так пусть же лезвия стальные  
Горят чеканкою лучей –  
Ведь слово мир сложили из мечей.

1980 г.

### НЕ УМЕР

О, лодка без весел,  
Мой парус опал!





Не умер – матросом  
Вселенной я стал.

1980 г.

### ТУМАН

Мы приходим из тумана  
И уходим мы в туман...  
Каплей малой – в океане,  
В малой капле – океан.

1980 г.

### ВЗГЛЯД

Бог слепой всего, что рядом.  
Капля канет в океан –  
Все туман, что дальше взгляда  
И что ближе, – все туман.

1980 г.

### УТРЕННЯ ПЕСНЯ

Ты вертись, веретено!  
Первый луч упал в окно...

В нашу утреннюю пряжу  
Пусть он красной нитью ляжет.

Прялка быстрая, кружись!  
Свяжем новую мы жизнь.

Чтобы солнечные жилы  
Основанием служили,

Чтоб прочна была основа,  
В грудь его вдохнем мы слово;

И зажжем в его очах  
Два немеркнущих луча.

Из кудели снов и яви  
Дивный образ ему явим,





А на лживые уста  
Упадет пусть тень креста.

Пусть от выдоха до вздоха  
В немоте он ищет Бога.

Вейся, тоненькая нить!  
Пока вьешься – будет жить.

1982 г.

### ПРЯХА

Скрывалось солнце за тучи  
За космы седые небес.  
И каждый пробившийся лучик  
В зеленый заглядывал лес.

В лесу, коротая недели,  
Веселая пряха жила  
И чудные песенки пела,  
И тонкую пряжу пряла.

Но темные думы бродили  
В ее беспокойной душе  
Сплетаясь в нить-паутину  
И не расплетаясь уже.

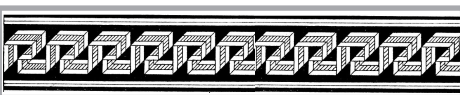
Кто видел веселую пряху,  
Кто песенки слышал ее,  
Хотел бы над ними заплакать,  
Но как окаянный поет.

1982 г.

\* \* \*

Глаза в бессоннице смыкаю...  
В пустом пространстве черный стол...  
И слитки на столе сверкают  
Серебряных цветов.

И высока и русокоса  
Над ними женщина стоит  
И отраженьем смуту вносит





В отполированный гранит.

### СЕРЕБРЯНОЕ WRAVE

На черном грифе черной ночи  
Четыре лунные струны...  
Смычок боится и не хочет  
В ручки дрожанье вплесть волны,

Но в горле сдавленные всхлипы  
Вдруг разрешились в страшный плач:  
С высот ли, с глубины эти глыбы  
Низверг серебряный скрипач,

Что вот грядой вершин и пиков  
До звезд завалена Земля  
Со дна морского Атлантиды,  
Как рыбы, блещут тополя.

На ноте длинной вздох истаял...  
Четыре лунные струны  
На черном грифе высыхают,  
Как в джунглях мертвые слоны.

Опять перевернулся мир  
В своей игре без правил:  
Вчера вот здесь стреляли – тир,  
А нынче место свято – правим.

Вчера лишь пол под каблуком  
Трещал в безумии чечетки,  
А нынче: лоб – под клобуком  
И в пальцах покаянных четки.

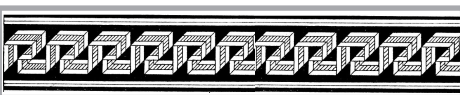
И столько длится перепляс,  
И столько пуль летело  
И пишем вновь иконостас  
Меж тем и этим делом.

2002 г.

### ПОЖАР ПЛАНЕТЫ

(сон)

Лечу над землею  
Святым херувимом





И режет глаза мне  
От гари  
И дыма.

Я вижу пожары  
Неравные силой:  
Вулканов пожары,  
Пожар Хиросимы,  
Троянский пожар.  
Пожар Яна Гуса,  
Пожар,  
Что пожрал  
Государство тунгусов,  
Пожары домов,  
Деревень  
И империй,  
Меж двух океанов  
Пожарище прерий.

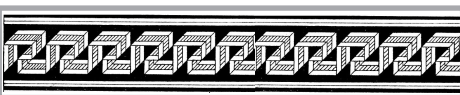


И нет уголка на Земле  
Без пожара –  
Кипят океаны,  
Пожар отражая.

Дымы от пожаров  
Созвездья закрыли...  
В паденьи  
Горят  
Херувимские крылья.

### ЧЕРНАЯ ФЛЕЙТА

Плачь,  
                    моя флейта  
  черная, плачь!  
Я не расстанусь с тобою.  
Только и ты  
                    мою горечь  
  не прячь:  
Раньше  
                    она называлась  
  любовью.  
Так же,  
                    как грустные ноты твои









Вылепить мир, и жар,  
Жар твоего дыхания -  
Как ледяной мираж  
В чистых глазах мироздания

Крик, затаенный в груди,  
Мир до отчаянья тесен -  
Вырвись и разбуди  
Бронзовый колокол леса!

\* \* \*

ЭТО лето могло бы пройти и иначе  
Как другие прошли наподобие сна,  
Но за это, любимая, сердцем  
заплачено  
И заплачено, видно, сполна:

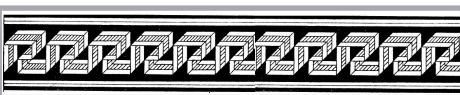
Ничего на земле не прошло  
незамеченным  
Хоть друг другу в глаза заглянуть  
удалось  
Лишь на миг - и открылась в них  
вечность  
От мгновенных цветов до негаснущих  
звезд.

\* \* \*

Ничего удержать не удастся.  
Все летит и летит напролом:  
Вот мелькнуло воздушное счастье  
И накрылось черным крылом,

Вот кометой сверкнула удача  
И опять потонула во мгле,  
Вот опять что-то звонкое скачет  
По оглохшей от звона земле...

На такой мы летим карусели.  
Вот отчаянный чей-то вираж -  
И сближение случайных соседей  
Примелькавшийся губит пейзаж.





\* \* \*

Кончается ночь,  
Догорает фитиль....  
В деревне сквозь мутную жижу  
Уже начинают все окна светить,  
Да иней белеет на крышах.

О, сколько за ночь откипело в крови!  
Свершив перелеты большие,  
Как птицы ночные,  
И мысли мои  
Сложили бесшумные крылья.

Кому теперь дело,  
Ты спишь иль не спишь,  
Когда разгорается солнце,  
Румянец не сходит с оттаявших крыш...  
Чуть-чуть – и бревно рассмеется.

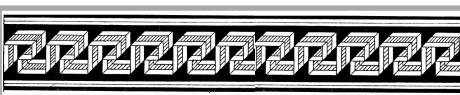
Горловка,

1977 г.

### ТРИ КАМЕННЫХ БАБЫ

Три каменных бабы – три брюха в руках  
На старом кургане сошлись на века.  
Одна на рассвет устремила свой взгляд,  
Другая печально глядит на закат,  
А третья, словно не стоит труда,  
Все смотрит и смотрит она в никуда.  
У первой – улыбка рассветным лучом,  
Второй – рот прорублен кровавым мечом,  
А третья – губы на вечный замок:  
Печатью молчанья зеленый лишь мох...  
И каждая что-то в утробе таит –  
И камень веками курган тяжелит...  
Ни глаз не сомкнуть, ни губ не разжать!  
Три тени, как призраки, в травах дрожат.

Горловка,  
1976 г.





Райнер Мария Рильке

## УТРЕННЯЯ

### МОЛИТВА

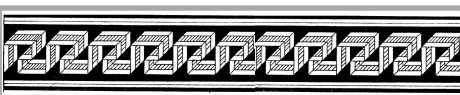
Встречай радостно твой рабочий день, если сможешь, а если не сможешь, то что помешает тебе этому? Может быть тяжесть пути. Что ты против тяжести? Что бы могло тебя убить. Нечто мощное и сильное. А что ты знаешь о нем? Что ты знаешь о легкости. Ничего. Легкость не имеет воспоминаний. Даже когда ты так жаждешь выбрать, не должен ли ты выбрать настоящую тяжесть? Ты не чувствуешь, как родственна она тебе? Не сроднилась ли она со всей твоей жизнью? Не настоящая ли она твоя Родина? И разве ты не согласен со всей природой, когда выбираешь? Думаешь легче ростку, пребывающему в земле? Или перелетным птицам не тяжело, а диким зверям, заботящимся о себе?



Видишь: нет легкости – есть тяжесть. Итак, жизнь есть тягость. Ты еще хочешь любить? Не ошибешься, если назовешь это долгом, который берет на себя всю тяжесть. Самоотречение, которое тебя отвергает. Что же есть долг? Долг – любить тяжесть. Мало сказать, что ты хочешь это нести, ты должен убаюкивать и быть рядом, когда понадобится. А ты можешь понадобится в любой момент.

Так огромна должна быть твоя любовь и твоя готовность помочь, и твоя доброта, которыми ты будешь баловать твою тяжесть, которая не сможет быть без тебя и которая будет зависеть от тебя, как ребенок.

И это все так далеко зайдет, что ты не захочешь, чтобы кто-нибудь пришел и тебя освободил. И ты это дальше пронесешь с любовью. Любовь тяжела. И когда тебя полюбят, то дадут тебе большую задачу, но не невозможную. Разве Он велит тебе не любить людей, это для новичков и Он от тебя этого не потребует, потому что ты должен любить Бога, что доступно только полной зрелости. Он указывает тебе только на твою тяжесть, которая есть





одновременно и стремление и свершение. Легкость, видишь ли, не желает тебя, а тяжесть ждет тебя, хоть ты не имеешь силы, да она бы и не нужна была, потому что как бы долго не длилась твоя жизнь, не остается лишнего дня для легкости, что смеется над тобой.

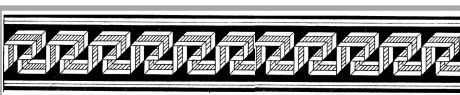
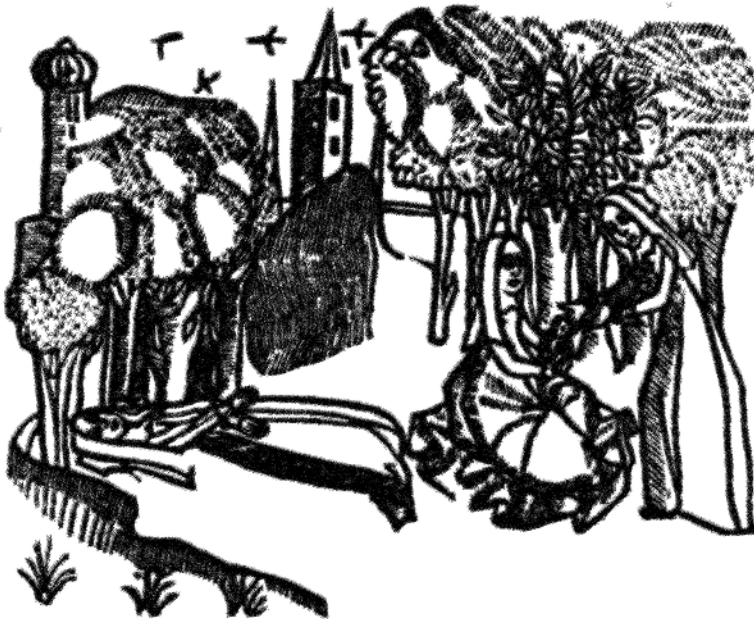
Замкнись в себе, находи все в своей тяжести. Твоя тяжесть должна быть как дом в тебе, если ты сам как земля, что изменяется с приливом и отливом. Помни, что ты не звезда, ты не имеешь орбиты. Ты должен быть сам для себя вселенной, в центре которой – тяжесть. И однажды это перерастет тебя и будет воздействовать своей силой на судьбу, человека, Бога. Бог потом придет в твою тяжесть, когда она созреет. И какое место ты знаешь еще, чтобы можно было с Ним встретиться.

1905

г.

Перевод с немецкого: Н. В. Чайковский, 1980

г.





**Раїса Талалай**

Народилася в м. Горлівка Донецької області. В юності захоплювалась поезією. Її вірші з 1970 року друкувалися в багатьох газетах та журналах.

Прозу почала писати з 2003 р. Її оповідання презентували такі періодичні видання: газета «Літературна Україна», журнали «Сучасність», «Березіль», «Дзвін», «Паросток». Автор прозової збірки «Триколірна Дуся».



**СТАРЧИХА**

Сонце розпекло пісок – не ступиш босим, спражило городину й квіти – листя обвисло ганчір'ям, усе живе поховалося в затінку.

Обідали в кімнаті – тут не так спекотно, як у саду, під горіхом. Устим цідив всій квас, його дружина Одарка – по-сучасному Дарина – розливала з макітри у глиняні мисочки холодну окрошку, дід Самійло щедро стругав скиби свіжого хліба, а п'ятилітня Ясочка вже сьорбала борщик, коли – овва! – у відчинені двері впурхнула синичка і, наче зазвичай, сіла на бильце вільного стільця.

Ну й нечепура ж: пір'ячко розпатлане, виляняле, наче занехаяна бомжацька одіж... Анітрохи не соромлячись і нікого не страхаючись, птаха покрутила на всі боки голівкою і жалібно пискнула:

– Люди добрі, вибачте, що я, така молода, звертаюся до вас. Мої батьки загинули... А у мене ще четверо голодних дітей. Подайте на шмат хліба...

Усі завмерли. Анічирчик. Якби окрошка з ложок не скапувала, то – наче кіномеханік стрічку зупинив. Синиця тільки й чукала що на їхні витрішки: підпурхнула до лозового кошика з печивом, неквапом узяла однецьке і низько – важке ж яке! – пошурхотіла з кімнати.

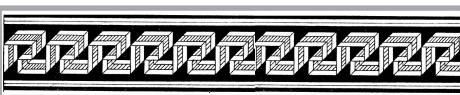
– Ну й нахаба!

– Кому розказати – не повірять!

– Ні, ви десь бачили таке?!

Сміючись із пригоди, доїли окрошку, котлети. Та щойно Одарка роздала кухлики із квасом і поставила на середину столу лозовий кошик із печивом, у кімнату знову влетіла синиця. Запанібрата чичиркнула до них, мовляв, о, вчасно я прилетіла, і шурх до кошика. Блимнула чорним бісером – який би його шматок ухопити, – а вже тоді, майже манірно, взяла печиво у дзьоба і полетіла собі.

– Добре-таки, що кицька з кошенятами на горищі, а то були б комусь







непереливки! – довго сміявся, аж кашляти почав, дід.

Коли всі розійшлися, жінка поставила кошик із печивом на книжкову шафу, прибрала зі столу й мила посуд. На столі залишилися лише тарілка з крихтами хліба. Синичка влетіла знов і вже як у своїй господі хазяйнує: подивилася на ті крихти, а тоді – шурх на шафу до кошика. «Шмат хліба», бачте, це так до слова прийшлося...

Наступного дня Одарка з книжкою лежала у шезлонгу в тіні горіха. На сонці біля ганку синів таз із водою: в ньому мили ноги, щоб у хату пісок не наносити. Бачить – на мотузці між прищепками сидить двійко гарненьких синичок – не те, що вчорашня – і перетинькуються між собою. Потінькали, потінькали, а тоді одна із них шубовсть у той таз, обтрусилась і враз – така нещасна жебрачка. Овва! Та це ж учорашня нечепура! Ну й актриса!

– Дивись, як треба, – тенькнула вона іншій і – шурх у кімнату.

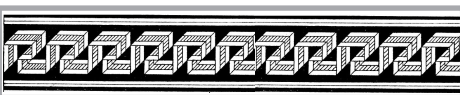
Тоді й друга: шубовсь – у таз, та шурх – за нею... Але не збрехала старчиха – такі четверо голодних ротів чекали на поживу. Пуцвірки, натомивши ще слабенькі крильця, причаїлися у смородиновому куці і тихенько чекали на батьків. А як побачили їх, то такий галас зчинили: «Мені, мені!» – кричить кожний ще й крильцями чимдуж трипоче. Мокрі синиці покришили печиво на гостичі і давай запихати десерт кожному жовторотику.

На які тільки вигадки здатна батьківська любов!

### КОХАННЯ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ

Христині нещодавно виповнилося тридцять сім. Вона працювала інженером – поетесу в ній поховали побут і щоденні далеко за північ богомні посиденьки неодружених або розлучених поетес і прозаїків у їхній просторій квартирі: треба ж було комусь прати після гостей зіжмакані в шалі ночей простирадла й рушники, здавати порожні пляшки, вигрібати недопалки з вазонів герані та бегоній, мити щодня підлогу від весняного-осіннього багна на черевиках гостей та й, нарешті, заробляти гроші. А писати вірші вона могла тільки в порожній квартирі, коли входила в тільки їй відомий стан: тіло мало тремтіти, душа вібрувати. Тоді з'являвся ритм і слова, наповнені особливим змістом. Легенько похитуючись, вона шепотіла їх, наче пригадувала, ніби вона вже знала їх колись і забула. Записувала на клаптях різного паперу – чистих білих блокнотних сторінок її вірші чомусь лякалися. Читала їх пошепки й уголос, аж доки знесилювалась. Потім падала в ліжко і до ранку намагалася звільнитись від цих слів. Після такої ночі з темними колами під червоними очима з'являлася на роботу. В голові гуло, в серці штрикало й дочекатися кінця світу, здавалося їй, легше, ніж кінця робочого дня. Отже, поєднувати написання віршів із повсякденною роботою було небезпечно. Вибирати не доводилося: щоб жити, потрібно було заробляти гроші. За вірші ж не платили.

Після роботи Христина потинялася по Бессарабському ринку, з'їла морозиво і зайшла до фірмової крамниці парфумів. Біля прилавку-вітрини непорушно стояли покупці. Вона спробувала позаглядати, але марно. Тому, аби не гаяти час, спитала продавщицю:







– У вас є крем «Essentials»?

– Ні, але зайдіть днів через п'ять.

Коли Христина обернулася йти геть, дорогу їй заступив чоловік. Він дивився на неї здивованими аквамариновими очима. На бліде надзвичайно вродливе обличчя – куди тому Алену Делону! – темними хвилями спало довге волосся. Помітила, як з-під білосніжної, бездоганно випрасуваної розстігнутої у комірі сорочки, струмував золотий ланцюжок, гублячись у кучерявих нетрях міцних грудей, як пульсувала блакитна жилка на його шиї. Христину вразила мінливість його очей. Спочатку вони їй здалися здивованими, потім зляканими, – може, вона йому когось нагадала? Його перше кохання? А потім... Потім вони поглинали її. Вона могла б заприсягтися хоч зараз, що поміж ними весь цей довгий, як їй здалося, час миготіли блакитні блискавки. Розгублена, ступила крок ліворуч – і чоловік повторив цей рух, подалася праворуч – одночасно з ним. Він якось ошелешено посміхнувся їй, ніби казав уголос: «Ви – жінка моєї мрії!..» З підвалин пам'яті феєрверком вирвалися забуті слова, якими колись на весіллі її образив дружка: «Під сорок такі жінки набирають особливої привабливості...»



Христина вийшла заміж, коли їй ще й дев'ятнадцяти не було. Понесла до літоб'єднання перші спроби увічнити свій цуценьячий захват від несподіваної волі після батьківської опіки. Вірші хоч і слабенькі були, але світлі, радісні та й не без Божої іскри. І одразу ж у неї закохався відомий у широких літературних колах тридцятирічний прозаїк Артем Титаренко. Він щойно повернувся з Московського літературного інституту, і наївна старенька мати час від часу все запряшувала й запрошувала молоденьких сусідок: то наче вікна допомогти їй помити, бо сама нездужає, то жуків із картоплі розбирати, бо їй радикуліт дошкуляє, то ще що, – одне слово, невісточку собі приглядала. Проте Арсен і вусом на них не вів. Коли якось приводить додому маленьке, худеньке, кривозубе дівча з двома мишачими хвостиками волоссячка за вухами. Напакував цілий стос книжок для неї. І все щось їй говорив, говорив. По тому, як син хвилювався й догоджав дівчині, як його сірі очі раптом стали блакитними, мати й зрозуміла, що з цього жабеняти син хоче мати собі царівну.

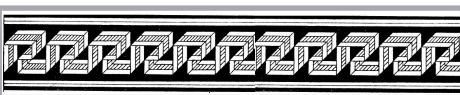
Через рік справили весілля. Родичів і знайомих понаїхало з усіх усюд. Арсенові за дружку був друг аж із столиці. Та після весілля, коли молодята виряджали його на Київ, він – чи то під хмелем був, чи з малого розуму – бовкнув:

– Нічого, старий, тримайся: під сорок років такі жінки набирають особливої привабливості. Ну, а поки що доведеться тобі бути і нянькою, і чоловіком, і батьком...

І хоч Арсен сприйняв ці слова за жарт, Христину вони зачепили за живе. Як виявилось, всі ці роки жили в її підсвідомості.

Розгублена, вона таки обійшла чоловіка з аквамариновими очима. Серце закалатало, обличчя спалахнуло густим рум'янцем. Непевним кроком по мармуровій підлозі, відбиваючись у дзеркальних стінах крамниці, Христина по прямцювала до виходу. Спиною відчувала на собі його погляд. Вона чекала на щось незвичне – можливо, він мав наздогнати її, заговорити, взяти за руку... Адже після того, що зараз так блискавично сталося між ними, не може все так просто скінчитися...

Почувалася так, наче мала всього лише дев'ятнадцять років, наче у неї





не було ні Арсена, ні сина: цокала високими підборами своїх стильних черевиків по тротуару й усе чекала, чекала, стримуючись з останніх сил, щоби не озирнутись...

Спам'яталася, коли дійшла до свого будинку.

— От и все? — ворухнула губами, стримуючи сльози.

Утомлено зняла з плеча сумочку, аби дістати ключі, — сумочка була розрізана...

## ЩЕДРИЙ ВЕЧІР

Марта, мов опудало, а не молодиця, лежала на старому дивані під ковдрою з діда-прадіда, накинувши на неї ще й свою шубу, закутана у квітчасту хустину та підперезана навхрест сірою пуховою шаллю поверх джинсів і широченного, наче з чужого плеча, светра, якого вона років п'ятнадцять тому сама ж і сплела таким. Не так за модою, як із лиха, яке намагалася приховати під ним від матері та людей. В хаті все кидьма, а вона лежить, мов нежива. Без жодної думки. Лежить и слухає, як шашіль шафу точить.

— Дз-з, дз-з, дз-з!

Від несподіванки їй аж у скроні стрельнуло.

Хто б це? Обережно, щоби не випустити дорогоцінне, назбиране досі тепло, вислизнула з-під рам'я і почовгала до дверей.

— Щедрий вечір, добрий вечір!.. — злякавши Марту, поспіхом, щоби не встигла зачинити двері, із темряви коридора закричало двійко дітей.

Спровадила — дала їм два прив'ялих жовтих яблука. Повернулася до дивана. Висмикнула з кубла ще теплою пластикову пляшку, що була їй за грілку, й пішла на кухню. Увімкнула газову конфорку, поставила на неї каструлю з водою — хоч якесь тепло буде в хаті. Вимкнула шкабурчке радіо. Відламала кусень хліба і пірнула з ним під ще не вистуджену ковдру. Повільно жувала й стежила за тарганом, який кволо пересувався по вицвілих трояндах на шпалерах брежнєвських часів, шукаючи чи то поживи, чи то тепла.

— Ненавиджу свята. Ненавиджу, — сказала й заплющила очі. Попереду три дні й ночі у холодній квартирі, у злиднях, у самоті. У-у-у, — голосно застогнала, аж тарган завмер.

— Дз-з, дз-з!

— А щоби вас дідько сколов! «Щедрий вечір, добрий вечір»! — прошипіла й накрилася з головою.

За дверима стояла тиша. Ніхто не вовтузився, не чмихав.

— Пішли, — подумала Марта і висунула голову.

— Дз-з, дз-з! — штрикнуло в серце, а голова, як у черепахи, мимоволі смикнулася під ковдру.

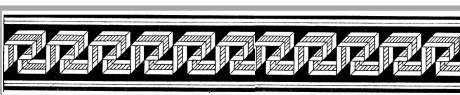
— Нема у мене чого вам дати. Нема.

— Дз-з-з-з!

— От напасть! — вистрибнула з теплої схованки й розчахнула двері.

— Ну, що вам?! Що треба?

З темряви назустріч сянула білосніжна пухнаста шубка, а в ній —





перелякана дівчинка в рожевій шапочці.

– Мені нема чого тобі дати! – гаркнула Марта. – Нема!

Але дівчина й не ворухнулася, тільки, як риба, розгублено заковтнула холодного повітря.

– Не-ма! – перебила її Марта. Проте метнулася на кухню. Схопила надламаний хліб і люто тицьнула його дівчині.

– Ну, на ось!

Ич, яка виськалась: зефір біло-рожевий, рахат-лукум заморський! Поласуй моїм черствим хлібом.

Дівчина зняла шапочку і взяла хліб. Марті здалося, що вона намагається розгледіти її, але заважало світло з кімнати. Ич, нахаба, – обурилась молодиця і хряснула дверима перед дитиною. Забралась у свій барліг. Заплакала. Не перебути, не перенидіти їй трьох днів... Піду завтра на роботу. Там хоч тепло. Поможу дівчатам посуд мити й пообідаю. Не всі хворі апетит мають, завжди щось лишається.

Зранку з постелі – прямісінько в стару шубу, яку ненавиділа, бо вона не гріла ще й іскрила, досить торкнутися її штучного хутра. Якось Василь, за яким, хоч і жонатим, стискалося Мартине серце, пожартував щодо неї, мовляв, яка любка, така й шубка... Гад! Що він знає про неї! Ненавиджу усіх чоловіків! І його ненавиджу.

Зиркнула у вікно – шарабура така, що ой-ой-ой! Аж пересмикнуло від думки, що вона і серед людей, як серед цієї сніжної круговерті, сама-самісінька.

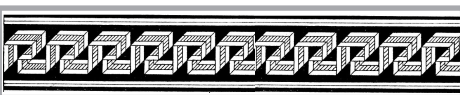
Увімкнула газ. Узяла чайника. Крутнула кран – пш-ш-ш. Чи вода замерзла, чи забули за графіком увімкнути після «щедрої» вечері... Доїла осушки хліба з холодною картоплиною, вмочаючи її у підсолену олію. Взула черевики. Відчинила двері. Нахилилася обтерти заплямовані носачи. І раптом злякалася: під дверима лежала рожева шапочка вчорашньої щедрувальниці. Боже милосердний, надворі такий холод, а це дівчисько... Розгорнула і – сполотніла. На ньому гострими літерами було написано її адресу. Заточилася. Ударилась об косяк дверей. Затулила долонею рота, із якого ані звуком, ані стогоном так і не вирвалось: «Донечко, рідна...»



### З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ І НАЗАВЖДИ

*Спогади про Миколу Вінграновського*

Я народилася в Донбасі, в Ново-Горлівці. Клапоть нашого шахтарського селища імені Шмідта з чотирнадцяти довгих вузьких рядочків мазанок у буйних куцах бузку та поодинокими цегляними хатами обрамляли: з одного боку – машинобудівельний завод, з іншого – рудо ремонтний та завод залізо будівельних конструкцій, із третього – відстійне шахтне болото, а за ним – шахта. І тільки за останньою, чотирнадцятою лінією – люди чомусь нумерували вулиці, хоч у кожній була назва – за яругою, по дну якої протікала отруєна хімічним заводом смердюча жовта річечка Газуха, починався степ, де-не-де оторочений кучерявими вузькими посадками з кленів та акацій. Можливо тому мене, вже двадцятишестилітню жінку, так вразив ліс під Києвом. А найбільше –





окремішні його дерева, яких я ніколи не бачила. Захоплена красою одного такого дерева – воно ворушило сріблястим листям і світилося до мене могутнім гладеньким стовбуром – я й незчулася, як відстала від свого гурту. Отямилась, коли почула далекі вигуки свого імені. Це дерево було надзвичайно красивим і наче уособлювало радість, випромінювало любов. Серед людей, яких я знала, так вирізнявся тільки Микола Вінграновський. З першого погляду. В усьому. Він викликав захоплення.

Сім років ми намагалися поміняти трикімнатну квартиру в центрі Донецька на однокімнатну в Києві. В російськомовному Донецьку Талалай задихався. До нас майже щодня приходили з горілкою то одні, то інші «друзі», які, як згодом з'ясувалося, не стільки мали відношення до літератури, як до КДБ.

До Києва ми переїхали влітку сімдесят сьомого.

Одразу ж Вінграновський запросив нас до себе. Він тоді мешкав на вулиці Суворова. Я так хвилювалася, що не запам'ятала ні словечка з розмови, але як зараз бачу залиту сонцем тісеньку кімнату з книжковою шафою і книжковими полицями, Леонід Горлач виставляє на письмовий стіл із жовтої сітки коричневі пляшки з пивом, а Талалай обдирає на газету луску з тарані. У старих капцях, у синіх вилинялих спортивних штанях, розтягнутих на колінах, але в новісінькій білій тенісці, сидить, широко розставивши ноги, Микола Степанович, спирається кулаками на коліна і сяє, як той осокір, що вразив мене в лісі. Посмішка сонячним зайчиком то зблискує на вилицях, то пірнає в ямку на щоці.

– Тамаро, гукає він. – Тамарочко, ти не бачиш, що в мене гості – поріж нам сиру до пива.

Підвечір пішов нас проводити. Говорили впівголоса про арешт Івана Дзюби. Коли проходили повз гастроном, він раптом до мене так несподівано-натхненно:

– Раєчко! Раю! – виблискує в посмішці білосніжними зубами, голубить мене очима. – Ти у нас така!.. Ти у нас наймолодша! Збігай, сонечко, за горілкою, – і тиць мені десятку. Ні заперечити, ні відмовити... Якби ж я знала, в яку халепу через ту горілку втрапимо!

Хлопці завернули в парк, знайшли там затишний куточок і тільки-но вмостилися на лавку і відкоркували пляшку – не знаю, як вони збиралися її пити, бо ні закуски, ні жодної склянки у нас не було – раптом, ну прямо як у казці про Оха, як з-під землі:

– Старший сержант міліції Дригайлов. Ваши документи...

– Які в біса документи, – каже Леонід Горлач. – Ми ж гуляємо.

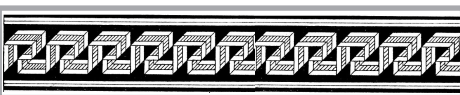
– Віжу, віжу. Гуля-а-єте! Разгулялись, поміляєш. Во-одку в неположеном месте raspиваете... Без докуе-ентов... Пройдьомтека в отделение.

– В отделение?! – обурився Горлач і загрозливим тоном до міліціонера: – Та ви знаєте, хто перед вами?! Це ж Микола Вінграновський! Яке «отделение»? Ми – письменники!

Міліціонер увімкнув рацію і, не реагуючі на Льончині доводи, буденно-втомленим голосом став викликати підмогу:

– Третій, третій, я в южной стороне парка. Давайте сюда, тут троє п'яних хох лов з девіцей льогкого поведенія.

Вмить з'явився «третій», а точніше троє міліціонерів і під білі ручки





повели нас у відділок. Микола Степанович з високо піднятою головою мовчки йшов попереду. Ще й завів руки назад, як справжній арештант, – це у нього була така манера ходити. Але я про це ще не знала і була в захваті. Міліціонери ж насторожились і якось винувано мовчки йшли, кидаючи у бік Вінграновського зацікавлені погляди. Горлач всю дорогу сварився, і за кожною фразою «Ви дуже пошкодуєте!» загрозливо скреготав зубами. А у відділку – там не раді вже були, що зв'язалися з нами, – я, принижена й обурена «хохлами» та «дівцею льокого поведіння», замість пояснення, чому і як ми пили горілку в «неположеном місці», накатала скаргу на старшого сержанта Дригайлова та так розійшлася, що вони не тільки офіційно відпустили мене, а й намагалися за двері виставити. Вінграновський мовчки сидів, сплівши на грудях руки, дивився собі на коліна, але час від часу гострим оком зиркав з-під лобища то на сержанта, то на його начальника, то на своїх друзів, а то на якусь мить правою щокою підбадьорливо посміхався мені.

– Я без чоловіка вночі нікуди не піду, а чоловік – без друзів. Або відпускайте всіх, або я напишу скаргу самому Щербицькому. Будуть вам і «хохли», і «дівці»!

Зрозуміло, що не погрози мої спрацювали. Міліціонери кудись дзвонили, щось з'ясовували, виходили-заходили, записували. Аж поки їм, міліціонерам, спати захотілося. Думаю, влпи навмисно протримали нас якомога довше, аби позбиткуватись, і відпустили за північ, коли вже ні метро, ні машини не їздили.

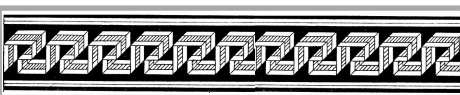
Прощаючись, Микола Степанович, приховуючи доброзичливу іронію, урочисто сказав:

– Раєчко, з тобою я пішов би у розвідку. Все!

\* \* \*

Якось Микола Вінграновський, Анатолій Качан, Леонід Горлач та редактор видавництва Марина Довга презентували в Донецьку книжки видавництва «Молодь», заодно з Талалаєм завітали й у Горлівку в гості до його батьків. Там чекали на них – накрили по-селянськи щедрий стіл: квашені яблука, помідори, огірки, капуста пелюстками, оселедці, домашня ковбаса, сало з рожевою проріззю, золотисті смажені коропи, піраміда котлет... Але мати, щойно хлопці випили по чарчині та захрумкали огірочками, із чавунка кожному поклала на тарілку паруючу смаженину. Які коропи чи котлети з такою смакотою могли змагатися! Ох і повечеряли ж!..

Зранку батько повів гостей на город та до вольєрів, похвалитися своїми фермерськими здобутками. Раніше він тримав кролів. Та вони часто хворіли і батько вдався до ноу-хау, чим дуже і тішився, і пишався. Вольєри він розташував по квадрату, а посередині утвореного дворика вивів і зацементував басейн, куди наливалася вода і де по черзі хлюпалися нікому невідомі звірята. Гості вражено розглядали симпатяг у білих, каштанових і навіть, як крем-брюле, рожевих шубках. Хто гриз буряк, хто яблука, а одна чепуруха спочатку ретельно помила в каструлі морквину, а вже потім сіла і, тримаючи її у лапках, із гідністю зхрумкала. Якби не голі огидні хвости, то можна було б їх назвати бобриками, а так – щури. Хоч батько й заперечував, називаючи їх любовно нутріями. Але ж хвости!..







— І що ж ви з ними робите? — спитав Вінграновський.

— Як що?! Хутро на шапки здаю, а м'ясо дієтичне, від багатьох хвороб, навіть від туберкульозу. Та й смачне. Ви ж учора...

Микола Степанович в одну мить пополотнів і, щоб не образити батька, кинувся геть.

\* \* \*

Поезію Вінграновського я знала давно і була в неї залюблена ще до того, як ми побралися з Талалаєм.

Усі наші зустрічі з Миколою Степановичем закінчувалися читанням його віршів. Чи старих, чи нових. Йому лестило, що Леонід і я знаємо їх чималенько. Але краще за нього їх ніхто не декламував. Його випростана спина, змахи рук, блиск очей, паузи і акценти, його енергія голосу, його гаряче дихання — дивовижне дійство! — одухотворювали кожне слово. Коли він читав свого вірша, у мене всередині стрімко випростовувалась якась невидима, але дуже потужна пружина, аж перехоплювало подих, аж до сліз. Признаюся, що й сьогодні не можу ні проконтролювати цей порух душі, ні приховати.

В сімдесят дев'ятому влітку до нас завітав Микола Вінграновський зі своїм земляком, поетом Андрієм Ярмольським та Олегом Орачем. Ми тоді ще мешкали в комунальці на вулиці Карла Маркса навпроти метро, недалеко від спілки, й у нас частенько експромтом гостювали письменники.

Олег Орач натхненно розповідав про свої недавні неймовірні пригоди в тайзі — їх можна слухати 25 годин на добу: так захоплює він уміє оповідати. Дотепно, легко, інтригуючи! Але всім хотілося послухати і Миколу Степановича.

Він почав читати свого вірша, написаного напередодні. Тричі прочитав. Але вірш на мене не справив жодного враження. Я знала його вірші як надзвичайно емоційні, після яких, як після ковтка нерозбавленого спирту, — не можеш і слова вимовити. І тут раптом Вінграновський звертається до мене:

— Раечко! А ну скажи. Цитуйте всі! Скажи — гарний вірш я написав? Скажи, любя.

І я сказала. Сказала, що, на мою думку, в цьому вірші замало справжніх емоцій і якийсь невиразний зміст...

Вінграновський, не зводячи з мене очей, витримав значиму паузу, доки червона хвиля не залила йому шию, обличчя, чоло, а тоді повільно підвівся і різко викинув у бік вікна праву руку з довгим середнім пальцем, замість відсутнього вказівного:

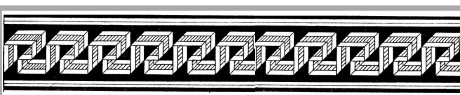
— За змістом — на вокзал!

Він сказав так, що оті три «з» вп'ялися в мене, немов три оси.

Вечір було зіпсовано. Особливо переживала я, адже я так любила його поезію і раптом ненавмисне так його образила.

Цей вірш ніколи не був надрукований.

Що ж до мене, то Микола Степанович був надзвичайно делікатним. Рік тому мені схотілося спробувати свої творчі сили. Написала на одному подиху перше своє оповідання «Триколірна Дуся» про кошеня й бомжіві — бігом до нього, до автора «Северина Наливайка» та «Манюні», у якого кожне слово насичене любов'ю до життя, природи, тварин... І хоч в оповіданні було чимало







недоробок, на які згодом мені вказав Анатолій Димаров, певне, щоб не злякати мене, Вінграновський не зробив жодного зауваження, а написав: «Раю, як для початку – дуже добре! Точні характери і деталі; а з точних деталей складається все. Нічого не бійся – вперед!».

\* \* \*

У вісімдесят другому році Спілка побудувала чотирнадцятиповерховий будинок для письменників по вулиці Чкалова (нині – Гончара), у якому й нам обіцяли квартиру.

Настав довгоочікуваний день, і Талалай разом із Вінграновським, Дроздом та Горлачем зайшли до голови місцевої Спілки Анатолія Боженка, який сказав, що, нарешті, всі вони, крім Талалая, можуть іти отримувати ордери. А Талалай – чомусь – має зачекати. Але Леонід пішов із колегами за компанію й разом з усіма, щоб переконатися в правоті слів голови профспілки, подав свої документи. Чинownik видав кожному – і йому – для заповнення ордеру. Леонід узяв свого ордеру. Зверху ліворуч тонесеньким олівцем було написано: «Затримати». Він показав це Миколі Степановичу, а той неквапом, мовчки взяв із столу гумку і стер напис.

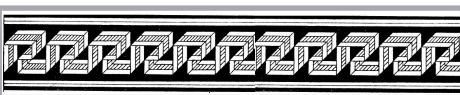
– Розписуйся ось тут. Все.

Щойно ми отримали ключі, приїхали батьки Леоніда. У квартиру ми ще не в'їхали: треба було циклювати й лакувати підлогу. Але батькам хотілося, щоб ми зробили входини під час їхнього короткого перебування. Леонід покликав Миколу Степановича. Я постелила посеред кімнати на підлогу газети, кинула зверху скатертину, поставила наїдки. Вінграновський розпитував батька по те, про се, про його теслярство, про нутрій. Випили по чарчині. Не встигли й закусити, як прийшли глянути на нашу новеньку квартиру Наталя Яківна, дружина відомого актора Дмитра Мілютенка, а за нею ще й моя колега з чоловіком. Сміхотунка і красуня, яка звикла завжди бути в центрі уваги, вона в захваті від того, що опинилась в товаристві таких відомих людей, ні на секунду не замовкала, сміялася. Через десять хвилин Микола Степанович устав і пішов. У дверях обурено кинув Леонідові: «Це ж треба мати таке нахабство, щоб усю увагу перебирати на себе!»

Душею компанії він звик бути сам. Наші спільні знайомі про це знали і поступалися. Хіба що він сам викликав когось на розмову. В іншому випадку – уставав з-за столу і казав: «Льоню, ходімо перекуремо», брав свою чарку, Леонід – пляшку і – в коридор. Їх наздоганяли інші курці, й ніхто вже не повертався.

Це зовсім не означало що він не вмів когось слухати. Ні. Він був чудовим співрозмовником. Часто заохочував нас розповідати усілякі пригоди, особливо Олега Орача про його героїчні подвиги в уссурійській тайзі. А на Дону, розказував чоловік, просиджував цілісні дні удвох із лісником, Василем Петровичем Астаховим, слухаючи його оповідки то про війну, то про всякі бувальщини.

11 листопада 2003 року Вінграновський на дні народження Талалая – у нього, до речі, день народження 7 листопада – доброзичливо слухав виступи й розмови гостей, а коли із запізненням, пробиваючись крізь туманище між





Черніговом та Києвом, з'явився Іванов, Микола Степанович раптом зустрів Дмитра словами з його ж вірша:

– Дмитре! «Осінь скиртує тумани!» - і почав цитувати: «Ми більше не зустрінемось з тобою. Ми житимем, як небо із рікою...» Талалай підхопив: «Воно – у ній, вона – у нім. І люблю їм, і горе їм».

Це було дуже зворушливо. Думаю, що саме щирі дружні слова в цей вечір і повернули Дмитра Іванова до літературної творчості, збудили бажання писати вірші. Коли він прощався, вирушаючи в ніч до Чернігова, то сказав мені, що давно не відчував себе таким щасливим і що заради цього готовий був хоч би й пішки до нас прийти. І по поверненні, після п'ятнадцяти років мовчання, він на одному диханні написав цілу добірку нових віршів із назвою «Здрастуйте, я повернувся!»

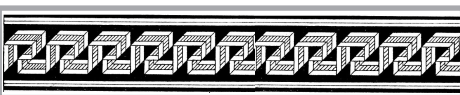
Цього вечора Талалай читав свого вірша про Вінграновського. Перший раз він прочитав його трохи іронічно – гості ж були налаштовані на веселе. А Вінграновський:

– Ні, Льоню! Ні! – Двічі заперечливо хитнув головою, наче закреслив. – Цей вірш у такому тоні я не сприймаю. Ану, прочитай як треба.

І Талалай прочитав як треба.

*Осіннє марева тремтіння  
і Вінграновський, як видіння,  
над бур'янами виника  
і перед себе на руках,  
несе врочисто жовті дині –  
весь в реп'яхах, в росі, в гудінні  
сліпучих ос, які над ним  
рояться німбом золотим.  
Владика степу! Навпростець  
простує зібраним баштаном,  
і, наближаючись, росте  
плечима, усмішкою, станом,  
і розсіває навкруги  
очей петрові батоги...*

*А вже на плинні жовті тіні,  
і наші поплавки спокійні,  
і підглядає з казанка  
більмасте око судака,  
як розсідаємось на сіні  
над килимком, як за столом,  
де скиба кавуна – ребром  
і так гостинно пахнуть дині,  
що гріх не випити вина  
під вічну пісню цвіркуна  
за світ очей, що як на плинні,  
спливає маревом осіннім,  
за риболовлю і за дині,*





*потрійну юшку золоту,  
і за співучу марноту,  
що зимуватиме у сіні.*

*Листок вербовий над наметом  
тремтить, відчувши переліт,  
але таким спокійним світ  
стоїть за спиною поета,  
хоч рання осінь крадькома  
уже підкралась і до нього,  
Владики степу, у якого,  
не тільки скіпетра нема,  
а навіть – пальця вказівного.*



Вінграновський, сяючи очима, стежив за реакцією гостей, які завмерли, тамуючи подих. Вони вдихали на повні груди духмяне гаряче повітря степу, вдивлялися – ось тут, зараз! – у живі «петрові батоги» Миколиних очей, бачили рухливий золотий німб навколо його голови, голови Владики степу, що з динями, як із немовлятами на руках...

Хвилин через п'ятнадцять він сказав:

– Льоню, ану давай ще раз. Тільки повільно, щоб кожне слово...

Тепер він ні на кого не дивився. Закрив очі, опустив голову і слухав, час від часу рухаючи жовнами. Щокі його палали. Видно було, що він не просто слухав, він заново переживав ті незабутні їхні дні на Доні! Він був щасливий з того! Талалай був щасливий з того. Ми всі були щасливими в ту мить!

Їхня дружба відзначалася рідкісним взаєморозумінням. Це було щось більше, ніж чоловіча дружба, це була взаємна любов, яка все розуміє з півслова, з півпогляду. Ще в 1986 році Вінграновський написав жартівливо-теплого вірша, присвяченого Леонідові, і підписав:

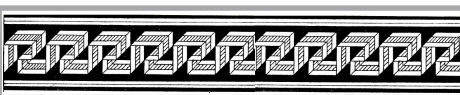
*Моєму, і тільки моєму другові Леоніду Талалаю:*

*На осінь вуса опустив  
Над Кальміусом Льонька,  
І Льоньку хоче обплести  
Тоненька павутокня.  
Тоненький серп душі зійшов, –  
Де шахти, де не шахти, –  
Без шапки Дон, без шапки Снов,  
І серце в нас без шапки!*

*Дон, біля Богоявленки, літо, 1986 рік.*

Микола Степанович дуже любив бувати у нас на дачі.

Талалай, «щоб йому ніхто на голові не сидів», тобто не заважав працювати, живе на острові Водників. Побудував самотужки – навіть крокви сам





поклав – таку-сяку маленьку-тісеньку – три кроки вздовж, два поперек – кімнатку-кабінет, але з трьома, хоч і різними за розміром та стилем, вікнами. Лише пічку, на якій поміщається чайник та каструля, допоміг йому зладнати давній приятель.

Якось, у перших числах листопада, коли ранки цупкішають від перших приморозків, я приїхала на дачу. Талалай у валянках, у двох светрах сидить на саморобному дерев'яному ліжкові біля столу з олівцем між зашкарублених від холоду та дачної роботи пальців, посьорбує гарячий чай. Пічка аж гуде – та стіни ж у пів цеглини... Принаймні я не наважилася зняти куртку. Але Леонід схимничає там доти, доки вранішній іній у кімнаті не вижене його на місяць-другий до Києва.

Проте чомусь саме ранньої весни та пізньої осені, а часом й узимку Вінграновський, як, до речі, і Микола Руденко, любив гостювати у Талалай. Зберігся лист, написаний ним у січні (!) 1997 р., у якому він проситься на дачу, де в цей час ні електрики, ні навіть води немає. Делікатно наполягає, щоб ми призначили день і час, аби неумисно не зашкодити Леонідовій роботі:

*Раю! Льоню!*

*Якби до 1-го лютого цього року на два дні побував у вас на дачі – це би було прекрасно.*

*Виїзд – мій, себто машина.*

*Час і день призначайте самі.*

*Ваш Микола Вінграновський.*

*25-е січня, 97 рік.*

Улітку ж він частенько приїздив порибалити й поспілкуватися: у нас завжди хтось чи з письменників, чи з художників гостює. Тут він познайомився й з нашим другом Джуро Відмаровичем, поетом і послом Хорватії, який усього лише за рік вивчив українську мову і вільно спілкувався. День їхнього знайомства – це було 1 серпня 1998 року – запам'ятався особливо, бо Микола Степанович був неперевершений. Він вразив Відмаровича своїми розповідями та поезіями. І так переконливо і яскраво розповідав про Северина Наливайка, наче оце щойно примчав із ним на змилених конях із Польщі.

Під час його натхненної розповіді я непомітно зробила кілька фотознімків.

Якось у 2001 році він приїхав до нас на острів із дружиною. Спека була нестерпна.

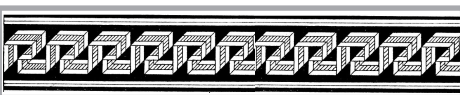
– Раю, у мене болять ноги. Все – не клич до хати. Неси сюди свого квасу. Якщо холодний.

Повідчиняв навістіж усі двері в машині та так і просидів три години з Талалаєм на дорозі між Дніпром і озерцем. Час від часу зиркав у бік озера, де неквапом плавала його Леся, Олександра Іванівна, і вигукував:

– Льоню! Яка краса! Ти з Раєю тут маєш раювати!

Я насмажила сирників, нарвала ягід, приховила фотоапарат і пішла його пригощати.

– Раєчко! Яка смакота! – вигукнув, з'ївши одне сирника. –





Прекрасно! Знаєш, це має покуштувати моя Леся. Вона їх дуже любить. Раю, я їх усі забираю! Все!

Він настільки любив нашу блаженку дачу, наш маленький затишний острів, що навіть попросив Талалай дозволити Гурамові Патріашвілі саме тут знімати про себе фільм. Це було в жовтні 2003 року. І він тут був востаннє.

Після Нового року Микола Степанович зовсім заслаб.

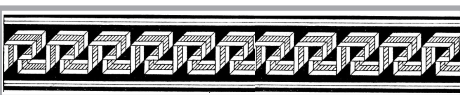
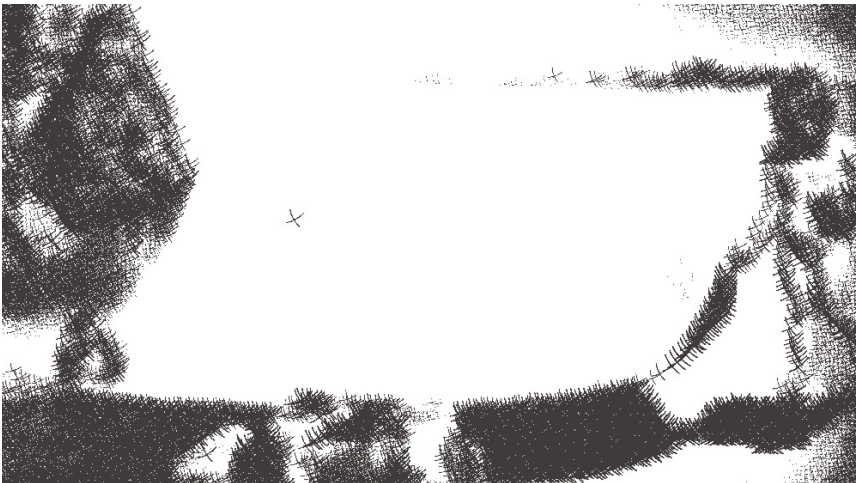
Перше, що робив Леонід, коли приїздив із дачі до Києва, телефонував друзі.

Двадцять шостого травня опів на сьому ранка подзвонила стривожена Олександра Іванівна:

– Раю, де Льоня? Треба негайно, негайно!.. Микола... Микола хоче його бачити...

Я зателефонувала поетові Володимирі Черепкову і попросила з'їздити на острів Водників за чоловіком. Йдучи о восьмій тридцять на роботу, біля під'їзду я зустріла засмучених Анатолія Качана та Павла Вольвача і – усе зрозуміла...

Неймовірно блідий і не схожий на себе він лежав у ліжку на лоджії, обладаній під кабінет. На столі лежала розгорнута книга спогадів Максима Горького про Льва Толстого. Усього лише три дні тому Леонід дав йому цю книгу. Розмовляли виключно про літературу, про хворобу намагалися не говорити. Микола Степанович збирався ще посидіти, хай і в машині, над Дніпром, послухати останніх солов'їв, яких у цей час на острові можна побачити ледь не на кожній гілці... І Леонід сподівався, що у них ще буде попереду і степ, і сазани, і потрійна юшка золота, і що за спиною у них ще стоятиме спокійний сонячний світ, який так любив його друг...

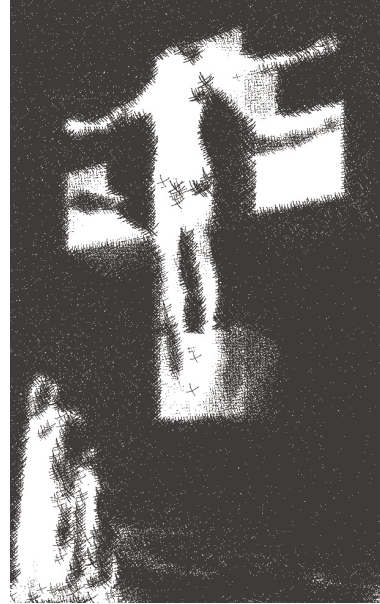






**Сергей Шаталов.** Прозаик, поэт, драматург. Живет в г. Донецке. Автор поэтических сборников. Редактор журнала «Многоточие».

Из интервью Сергея Шаталова  
журналу «Афиша»



**Вопрос:** Ваш круг чтения?

**СШ:** Очень опасный. Я отыскиваю (интуитивно, конечно), такие книги, чьи координаты воздействуют на меня, как сеанс иглотерапии. Мои координаты совпадают с ее - и меня уже нет...

**Вопрос:** Что для вас чтение?

**СШ:** Компас, который помогает без потерь перебраться из одного дремучего леса в другой и при этом не заблудиться.

**Вопрос:** Книга, которая вас изменила?

**СШ:** «Колобок». Очень страшная книга. Более абсурдной и чудовищной не встречал.

**Вопрос:** Из недавно вышедших изданий запомнилось?

**СШ:** Все, что в последнее время побывало в моих руках.

**Вопрос:** Последняя книга, которую вы купили?

**СШ:** Обычно мне их дарят (не по своей воле, а по моему настоянию). Это как предание - из рук в руки (что очень важно). Ибо книга не будет «прилежно» читаться. Книга должна быть как дар.

**Вопрос:** Что вас вдохновляет?

**СШ:** Обморок горизонта и все, что за ним.

**Вопрос:** Как вы пишете?

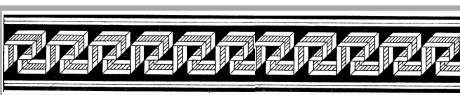
**СШ:** Шепотом. Я что-то нашептываю руке, а она уже дает пояснения.

**Вопрос:** Ваш идеальный читатель?

**СШ:** Я, потерявший все. Я, задержавшийся в двери. Я, остановленный окном... Одним словом, идеальное многообразие.

**Вопрос:** Что в ближайшее время планируете издать?

**СШ:** Двухязычную антологию современной итальянской поэзии, книгу прозы «Первые триста лет моей жизни», в нее входят три части: «Сто страниц солнца», «Двадцать семь оттенков черного» и «Несколько способов увидеть нездешнюю птицу». Если получится, то три пьесы под общим названием «Очень не здесь».







## ИГРАЕМ В ДЕКАДАНС

*Я знаю, откуда эта капля крови. Ты забыл  
вынуть нож из рта.*

*Ольга Крашенко*

– У нее было два сердца. Два сердца, и большое чувство...  
– У меня было два сердца. В теле стоял такой грохот... Своим неожиданным перемещением я могла испугать любого.  
– Любое ее перемещение узнавалось по шумовым контурам. Особенно ночью, в полной тишине, в отсутствие света.  
– Особенно ночью, в полной тишине, в отсутствие света. Никто не мог уснуть, даже самые близкие, даже те, кто, казалось, уже привык.  
– Даже те, кто, казалось, уже привык, наполнялись простором чистого, нетронутого существования, и становились взрослее на целую нечеловеческую жизнь.



– Порой меня покидали на целую нечеловеческую жизнь. Покидали все и вся. Даже предметы и вещи. Меня уверяли, что они всего лишь на время забыли обо мне, но на самом деле...

– Но на самом деле переживать ее присутствие вблизи требовало определенной подготовки и мужества. Любая пауза в разговоре давала повод задуматься: а сколько нас в комнате?

– Любая пауза в разговоре – это демонстрация моей слабости. Я не должна делать паузу. Я должна говорить, говорить, говорить о чем угодно, лишь бы заглушить этот гул. Лишь бы пересилить эту невозможность остаться наедине.

– Лишь бы пересилить эту невозможность остаться в глуши самого себя без позывных и опознавательных знаков и видеть в ней только женщину. Губы, глаза. Глаза, губы, запах волос, но запах на мгновение. Потом его уносят невидимые колебания и возвращаются глаза, губы, глаза. Губы подрагивают, губы всегда подрагивают, как бы хотят о чем-то предостеречь. Губы как видимая часть сердца, но какого?

– Губы как-то связаны с сердцем, правда я не знаю как. И все-таки в этом есть что-то простое и напряженное, что-то очень настоящее... А если к ним прикоснуться другими губами?

– А если к ним прикоснуться моими губами? Неужели я стану частью ее двойников? Этого грохота, этого недоумения, этого взрыва.

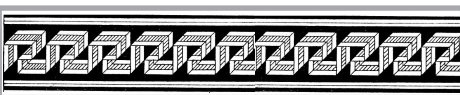
– В его поцелуе все засекречено: комната, окна, двери, я... Теперь никого и ничего не могу различить. Никого! Только ОН.

– Кто?

– Не знаю...

– Она какое-то время не подавала признаков жизни. Разве можно так долго не жить? Ее тело... ее бездыханное тело...

– Только не сейчас! Только не сейчас... Воздуха больше нет. Есть разреженная вода. Есть близкое небо, есть царапины на стене. Есть кровь. Крови много. Ее хватит на двоих, на троих, на целую жизнь. Ее хватит...





– Откуда столько крови? Почему в моих руках нож? Почему ее грудь...  
Боже!

– Боже, зачем я его к этому подвела? Зачем? Я была уверена, что все обойдется. Я была уверена, что в этом нет ничего страшного.

– Как бы не так, как бы не так... С твоим сердцем, с твоим бешеным сердцем оборвалось все. Вызвать скорую и бежать.

– Тебе некуда бежать... Ты привязан ко мне... Ты не можешь бежать...

– В комнате стало значительно тише. Одни ходики: тик-тик-тик, один я с иголкой и ниткой. Все хорошо, все хорошо...

– Уезжай от моего сердца! От моего разбитого сердца! Вот билет! Вот еще один! Еще и еще... Мое сердце больше не перенесет твоего присутствия, слышишь?

Много воды. Много меня. Вода. Мыло. Жидкое мыло. Мою голову. Долго мою голову. Мою голову так, что из нее поднимается солнце и волосы сами по себе, да-да, сами по себе становятся его продолжением. Солнца оказывается больше, чем крови во всех комнатах и я перестаю его понимать. Только радость. Такая хмельная радость. И не хочется останавливаться в этой тишине. Не хочется...

## ТОТ, КТО РАЗВЕШИВАЕТ ВОДОРΟΣЛИ

*(водоросли – фрагменты некоего глубинного театра)*

*Начало спектакля.*

*Перед дверью в театральный зал стоят двое. Один склонился к замочной скважине.*

*Другой, видимо, зная все заранее, комментирует.*

**Комментатор:** В спектакле только один актер. Он находится за пределами света. Поэтому, откуда идет голос, сразу не разберешь.

**Склонившийся:** Почему на сцене так много статистов?

**Ком.:** Просто сидят и ждут...

**Скл.:** И чего они такого ждут?

**Ком.:** А вдруг вот-вот...

**Скл.:** Что «вот-вот»?

**Ком.:** Начнется или наступит... *(сквозь смех)* Да и вряд ли они статисты...

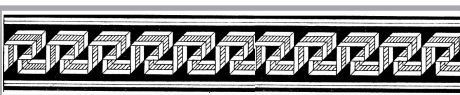
**Скл.:** Режиссеры?

**Ком.:** Тоже сомневаюсь: для одного их слишком много...

**Скл.:** Чистое язычество: один актер и столько режиссеров. Хороший ход! *(поднимая вверх палец)* О-о-о! Кричит! *(повторяя слова актера)* «Даже если тебе отрубят голову, ты должен сделать еще один шаг и атаковать врага!»

**Ком.:** В прошлый раз кричал другое. Разрешу, взгляну... *(меняются местами)* Ладонь высунул из темноты. На ней что-то нарисовано... Ну, да... Что-то... А что? *(отходит от двери)* Кажется он смотрит на меня...

**Скл.:** Если ты знаешь спектакль наизусть – это не дает тебе право





говорить загадками.

**Ком.:** *(выпрямился и хватает «коллегу» за грудки)* Ты, это... в общем... лучше, смотри дальше.

**Скл.:** *(мало понимая, что произошло, снова прилипает к замочной скважине)* Зачем я тебя послушал! Купили бы билеты, сели б как люди...

**Ком.:** Смотри дальше!

**Скл.:** Кажется, я что-то пропустил!

**Ком.:** И что ты мог пропустить?

**Скл.:** Теперь он – самолет. Гудит как подбитый. Из него вываливаются парашютисты.

**Ком.:** Что у них вместо парашютов?

**Скл.:** Детские рисунки. *(неистово)* Терпеть не могу самолеты! Всегда не люблю самолеты! И никогда не сяду в самолеты, НИКОГДА!

**Ком.:** Интересно, кто-нибудь из них приземлится?

**Скл.:** Трудно сказать. Густая облачность и сильный ветер.

**Ком.:** А теперь?

**Скл.:** Идет снег.

**Ком.:** На сцене?

**Скл.:** Я почему знаю...

**Ком.:** Так на сцене идет снег или где? *(меняются местами)* Запороли снег! Такой отчаянный снег был! Как в тот день, когда мы в первый раз пришли в театр. *(повернувшись)* Что ты все время вращаешься над моей головой!

**Скл.:** Стропы за ручку зацепились...

**Ком.:** «Двойственность – это основная причина страдания!» Это он кричит?

**Скл.:** Это ты кричишь.

**Ком.:** Так ты теперь прямо мне на голову?

**Скл.:** Больше некуда – рядом пропасть.

**Ком.:** Пропать – идеальная пустота. Попробуй лететь, или сдрейфил?

**Скл.:** Я могу разбиться.

**Ком.:** С чего ты это взял?

**Скл.:** *(примкнув к замочной скважине схватился за дверную ручку обеими руками)* Он сел кому-то на шею и поет. Радостно так поет. Будто в первый раз. *(неожиданно в слезах)* Я теряю рассудок на этом моменте! Такое впечатление, что они играют только для тех, кто за кулисами или, как мы, за дверью. Эти ребята режиссеры время зря не теряют: бесконечный стол, бесконечные свечи, бесконечный праздник и танцы с горящими бокалами...

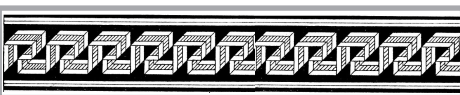
**Ком.:** Он не пьет. *(пауза)* Вообще не пьет!

**Скл.:** Да черт с ним! Я совсем не хочу о нем! Здесь с жизнью что-то не так.

**Ком.:** На дне пропасти тебя ждет портрет. Портрет под названием «Лицо, захваченное врасплох». *(склонившегося прямо перекосило)* А теперь не спускай с него глаз и следи за его дыханием.

**Скл.:** По какому поводу я должен разбиться?

**Ком.:** Не твоего ума дело. Мы заключили договор и теперь все зависит от чистоты и влажности воздуха. *(после долгой паузы)* Защищай свои мозги, хотя бы вспоминая таблицу умножения.





**Скл.:** Это неприлично – умирать в одних и тех же позах.

**Ком.:** Теперь мне совсем хорошо, от того, что общаюсь с таким продвинутым идиотом.

**Скл.:** Если не разобьюсь, то сойду с ума.

**Ком.:** Попробуй обмани. (*приказным тоном*) Что происходит на сцене?

**Скл.:** Плохо видно, но, кажется, все умерли...

**Ком.:** (*цитируя*) «Человеку, понявшему жизнь, некуда спешить».

**Скл.:** Кстати, это он кричит! И обливает все трупы бензином! Боже, какая атака в нем спрятана, взгляни!

**Ком.:** (*меняются местами*) Значит, он умертвил всех санитаров и остался один.

**Скл.:** И мы...

**Ком.:** Мы не в счет: нас уже нет...

**Скл.:** Что ты такое несешь?

**Ком.:** Это ускорение. Все становится опасным!

**Скл.:** Его еще можно остановить. Еще можно завалить дарами!

**Ком.:** Такая легкость в твоих словах... Но и только...

**Скл.:** По мне льется божественная вода...

**Ком.:** Его нужно похитить на время. Но похитить.

**Скл.:** Сегодня?

**Ком.:** Сейчас! (*комментатор снимает с себя одежду*)

**Скл.:** Ты что наделал?

**Ком.:** Он плачет...

**Скл.:** Не верит даже нам?

**Ком.:** И я плачу...

**Скл.:** Но, главное, обморок! Ты можешь падать в обморок?

**Ком.:** Это должно быть как солнечный удар. Будто на сцене пожар пропустили через тысячу увеличительных линз, и – бац!

**Скл.:** Но ты же ему об этом не признаешься, правда?

**Ком.:** В чем я должен признаться? (*после долгой паузы*) С меня довольно!

**Скл.:** (*дожевывая бумагу*) Чтобы тебе поверили, нужно сделать больно.

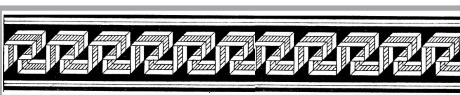
**Ком.:** Ты что, сожрал сценарий? Мой сценарий? И театр с ним?! (*в его глазах засветились невысказанные миры*) Мы с этим актеришкой всю ночь его сочиняли, а ты взял, и сожрал!

**Скл.:** (*покашливая*) Но ты же знаешь, что я никому ничего не скажу: не скажу, кто ты и не скажу, кто я... и тот! (*указывая на замочную скважину*)

У входа в театральный зал проваливается коридор и у них за спиной возникают: сад цветущий, сад золотой, сад сияющий.

## КАМЕРНАЯ МУЗЫКА

Мне как-то сразу глянулась эта старинная тумба. Видимо, ее изготовили без особого насилия, из какого-то солнечного дерева, ибо тепло исходило из





нее во все четыре стороны, независимо от того, где она находилась. Желание дотронуться до кусочка солнца превышало желание следить за ее неподвижностью.

– Я же просил, не прикасаться руками! – упреждал нежелательные контакты с мебелью старьевщик – вещь ранимая, требует изысканного отношения, а ваши отпечатки пальцев несут одно – падение установленной цены.

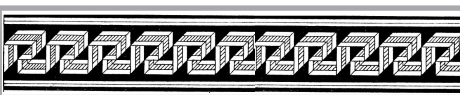
Старьевщик был вредный и какой-то очень уж несговорчивый. Каждую вещь продавал, будто делал тебе одолжение. После продажи смотрел «обидчику» в глаза, как побитая собака, до тех пор, покуда покупка не покидала пределы магазина. Сейчас и не припомню, с какой попытки и по какой цене удалось выкупить раритет. Но в магазин антикварной мебели теперь – ни ногой. Очередная встреча с этим субъектом не вдохновляла меня на новое приобретение.

После долгих странствий по квартире, тумба обрела место там, где обычно находился телевизор. Здесь оказалось достаточно света, чтобы входящему открылись все ее достоинства. Но что было внутри? Загадочные знаки, инкрустированные шлифованным малахитом и бурым топазом, обрамляла тонкая резьба, напоминая окоченевших скарабеев, за которыми начиналась пустыня.

Щелк! И в глубине обнажился наполненный водой аквариум, освещенный единственным донным камешком. Удивительно, света хватало не только для внутренней жизни тумбы, но и для всей комнаты. Так что книги читались без особого напряжения, а граница между дневным и ночным бдением почти не существовала, конечно, если не заглядывать в окно. Комнатные предметы и без того увеличивая все, что не рядом, готовили меня в один момент, подробно, день за днем, пересказать свое детство. Потому белый день все длился и длился. Но что за сила собралась в этой окаменелости, своим постоянством разрушая перемены? Светит – и все тут!

Любопытство съедало меня. Без каких-либо опасений я опустил руку в аквариум и через секунду чуть было не пожалел о содеянном – истерический холод охватил мое тело. Я выскочил оттуда прямо в постель и укутался в теплое одеяло, а пальцы рук пришлось отогревать несколько дней. Аналогичным образом завершились и последующие попытки. Только после того, как я облачился в полярные рукавицы – начался мой подробный осмотр «каменного гостя». Он, как мне казалось, не подавал признаков жизни. Но чем дольше я держал его перед глазами, тем отчетливей обнаруживались в нем различные точки понимания, будто камень ждал от меня глубокой внимательности ибо казался старше всякой осени. Однако, какое к черту тут милосердие и мудрость! А если бы я отморозил пальцы? Ему-то что! Человечней не станет, как светил, так и будет светить, будто маяк для заоконных кораблей. Интересно, на каком расстоянии можно увидеть его приближение?

Первое ночное путешествие я совершил где-то на окраину города. А потом вообще в другие места. Не могу сказать, что свет из моих окон преодолевал такие дали, но ощущение, что он совсем рядом, не оставляло меня.







Я не стал возвращать камень в аквариум, присмотрев ему место на одном из подоконников. Именно там с ним стали происходить всевозможные превращения. Мне даже виделось, как он дополняет все, что имеет глаза.

В один из солнечных дней, когда мне подумалось, что камень утратил свой дар (в этот раз Солнце пересветило его), вместо донного камушка обнаружилась на подоконнике очередная маленькая неподвижность – каменная книжица. Будто камень выдвинул мне ультиматум – набор мелких предательств и убийств, упаковав содержимое под прочной обложкой. Однако страницы молчали или делали вид, что молчат... И все же какой-то смысл исходил от нее, как от только что сгоревшей жизни.

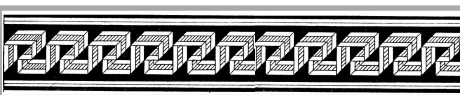
Однажды мне привиделось, что из моей комнаты вынесли гроб. Появилась опасность встретиться с неизвестным. Но я не хочу... «Если он подойдет слишком близко – я выстрелю»... В кого?



Камень, как странствующий зверинец, каждой клеткой завернулся в бесконечное количество упаковок и ждал своего разоблачения. В центре книги царил чье-то отсутствие, невидимость, скрытость. «Будь осторожен. Движения к морю – угнетают!», – прочел я где-то на задворках самого себя, или рассматривая под лупой матовые страницы. «На твое приближение отзовутся духи», – так откликнулось безмолвие, заполнив мое жизненное пространство испариной и донной прохладой. Кто-то предал меня, по гадкому, по быстрому и задохнулся присутствием камня. «Если он подойдет совсем близко – я выстрелю». Выходит, я ощущаю его почти физически? Тогда он может грохнуться в обморок от одной этой мысли, и таким образом обнаружить себя...

В мое отсутствие он перелистывал книги, оставляя их открытыми на определенных страницах. Заваривал чай из особого сбора трав и листьев (судя по всему, специально для меня). Забывал сигареты, которые предпочитал сам, и этим приглашал в свои секреты. Всего этого хватило с головой, чтобы не переступить «родной» порог как можно реже, всякий раз игнорируя замеченные дары. Страдал лишь свежесваренный чай, который я моментально выливал в раковину, по ходу наслаждаясь его прощальным ароматом.

Как-то после душной ночи я проснулся весь испещренный текстами распахнутых книг. Они обрушились на меня, как непредвиденный ливень





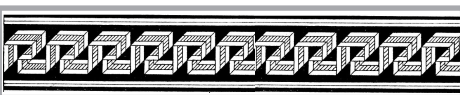


комнатного отчаяния. Как вулканическая лава, повторяющая формы давно разложившегося алфавита. Мое тело, разобранное словами, достигло высшего неповиновения, когда падающая вода не могла ему вернуть прежнюю человекоподобность. Но какое наслаждение ощущать, что я здесь временно? Тело уходило и дробилось на тело. И только текст проносился во мне, как бесконечно долгое плавание и уходил за горизонт. «У меня не хватит сил с ним встретиться!»

Кто-то дал команду, книжка слетела с подоконника и рассыпалась, произвольно разделив комнату на квадраты. Это напоминало детскую игру в классики. Стоило сделать несколько прискоков, и выверено продвинуть камешек из одной пустоты в другую, как ты уже на «небе», и прямо оттуда – на самое высокое дерево, присматривать за перемещением птиц. Все траектории полетов необходимо вписать в свою секретную карту. Если удастся зафиксировать точку пересечения более десяти птиц, то ты становишься светоносным... на время. Этого хватит, чтобы рассмотреть свою комнату.



Из стены вышла собака и села туда, куда ей велено (кем?). На другую клетку уселась брюхатая кошка и у нее тут же начались роды. И больше ничего...





**Светлана Макарова.**

Родилась в Горловке, окончила журналистский факультет, работала в редакциях газет «Вечерняя Горловка», «Неделя», в настоящее время проживает в Киеве.

В одном из первых выпусков «Дикого поля» было опубликовано несколько стихотворений (верлибров) Светланы.

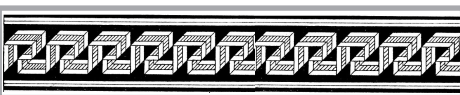
Принято говорить о поэзии 60-х, 70-х, 80-х, об общих чертах и настроениях, присущих тому или иному поколению поэтов. На мой взгляд, поэзию Светланы Макаровой по праву можно отнести к поэзии 90-х, ведь тревога и чувство «экзистенциального вакуума», потерянности, сквозящие в её стихах, какие-то особенные, наверняка знакомые родившимся в эпоху заката империи «последним пионерам», слушавшим «Аквариум» и «Аукцыон», читавшим Бёрджесса и Джангирова.

Урбанистическая проза и рок-поэзия, несомненно, повлияли на творчество Светланы, но не ограничили его, ибо налицо поэтическая подлинность и лирическая искренность, которые начинаются в тексте, а продолжаются в нас – в читателях.

А. К.

\*\*\*

Наступит день, и мертвых губы  
Поднимут крик страшной всех смут.  
Все прошлое поднимут трубы  
На страшный суд.  
И каждый, каждый суетливо  
Будет вязать свой узелок.  
Часы пробьют неторопливо  
Последний срок.  
Великие когда-то боги,  
Сейчас лежащие в пыли,  
Разбойники с большой дороги,  
И короли.  
Все те, кто был со мной когда-то,  
И те, с кем не было меня,  
Грозили, что за холод плата –  
Глоток огня.  
Но, продолжая верить в чудо,  
Не растеряв задор в башке,  
Я въеду в рай вслед за Иудой,  
На ишаке.





\* \* \*

Спустились ангелы с небес  
На белый снег ноябрьской ночи,  
И озарился сразу весь  
Покров из снега непорочный.  
И загорелся хрупкий лед,  
И иней заблистал на стеклах.  
Великолепный хоровод  
Морозец рисовал на окнах.  
И над поющей тишиной  
Пылало небо в звездопадах.  
Какою звонкой красотой  
Дарили дивные парады!  
А город в это время спал,  
О белых ангелах не зная.  
Сквозь окна лунный свет плескал,  
Да светофор грустил мигая.  
Расправив крылья на заре,  
Навстречу робкому рассвету  
Они поплыли. В руку мне  
Легло перо осколком света.  
И вдруг растаяло, как лед,  
Сквозь пальцы талою водою.  
И чей-то очень грустный смех  
Раздался тихо надо мною.

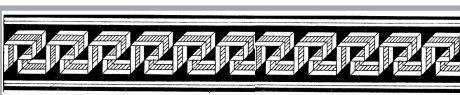


\* \* \*

Живущие в травах и живущие в песках завидуют жителям неба.  
Живущие во сне боятся умереть наяву. А жители моего города постоянно  
мигрируют из весны в лето и далее по календарю, не успевая даже запомнить  
свой адреса. Оформляю прописку в октябре.

\* \* \*

Завернуться в ночь, как в одеяло,  
Заблудиться в днях календаря,  
Поверить, что не все еще пропало,  
Помечтать, что ты живешь не зря.  
Помолиться, - так, на всякий случай,  
Покурить на кухне у окна,  
Вспомнить, что ты все-таки везучий.  
И уснуть – до следующего дня.





## СКАЗОЧКА ПРО ЗЕЛЕНУЮ ВОРОНУ

Вороны по своей природе бывают черными и серыми – их большинство, а также белыми – их очень мало и поэтому они держатся особняком. Черные видели в темноте, ибо несли ее и являлись ее сутью, серые считали, что несут свет, а белые несли его.

Он был зеленым и не имел своей стаи. Он ушел от черных, хотя те не гнали его от себя, он презирал серых, хотя те не видели разницы между ним и собой. Он пришел к белым и остался у них, почему-то решив, что они его приняли.

А в мире, где жили белые, был алтарь, на котором лежала чистота, но дорогу к нему преграждала стена. Черные и серые не знали об этом алтаре, они видели лишь стену. А белые не видели стены. Они шли к алтарю сквозь нее и становились еще чище.

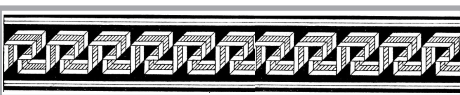
И зеленый пошел туда с теми, кого считал своей стаей. Он не видел стены, но не мог пройти сквозь нее. Он стоял и смотрел, как другие свершают обряд. И понимал, что он смешон.

А когда они ушли, он долго и иступленно бился грудью о невидимую преграду. А потом заплакал.

И слезы его были чернее слез черных ворон и чище слез белых.

\* \* \*

Он в небе летел с голубиной стаей,  
Дождями осенними падал вниз,  
Тусклым окурком в руке твоей таял,  
Январским морозом окно твое грыз.  
А ты все упорно смотрел под ноги.  
Он снегом покрыл все твои дороги,  
В тысячный раз, повторяя свой номер на бис.  
Ты убежал от шепота ветра,  
Криком вечернюю рвал тишину.  
Он приходил к тебе с каждым рассветом  
И брал на себя всю твою вину.  
Ты не знаешь, что он хотел сказать.  
Ты так до конца и не смог понять,  
Что от тебя так нужно было ему.  
Снег не хрустит под твоими ногами.  
Он ушел, не простившись с тобой.  
Отныне дожди и выюги с ветрами  
Не нарушат твой сытый покой.  
А ты по привычке плюешь за плечо,  
Но опять попадаешь себе в лицо.  
Уже никто не ответит тебе, что с тобой.





## NO FUTURE

В поисках себя  
Ты заблудился в пещерах чужих душ  
И гибнешь под обвалами чужих мыслей,  
Но твоя свеча вот-вот погаснет на этом сквозняке.  
Что ты делаешь?  
Все дальше и дальше ты уходишь,  
Плутая чужим умом, сходя со своего,  
Мимо табличек с надписью «Берегись!»  
Что ты делаешь?  
В протянутую шапку падают дежурные улыбки  
Их много, но все они не стоят  
Одного приветливого движения хвоста облезлой дворняги.  
Ты-то знаешь ему цену.  
Так, что ж ты делаешь?  
С пустой сцены в безлюдную пропасть ты кричал:  
«Положите конец фарсу!»  
Но путеводители для чужих душ  
Не продаются в газетных киосках.  
Ты злишься, потому что не можешь этого понять.  
Зачем ты это делаешь?  
Мудрец из веселого дома дал совет:  
«Ищи ответ на своей территории»,  
Но ты сам захлебнешься собственной мерзостью.  
НЕТ ВЫХОДА

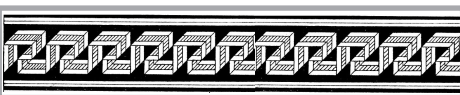


## СОБАКА

Небеса – голоса.  
Гав!  
Слезы, кровь, снег, роса...  
А глаза!  
Каждый раз – в бровь и в глаз.  
Ага.  
Утром вальс, ночью джаз,  
А сейчас?  
Бог любит вас!  
Свалка...

\* \* \*

Медленно, медленно,  
Как тихо, незаметно и медленно





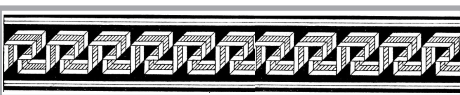
Умирают цветы.  
Так движется река,  
Так наступает старость,  
Так сходят с ума.  
Медленно – но не убежать,  
Тихо – но не перекричать.  
И неизбежность заколдовывает взгляд.

\* \* \*

По ступеням бегом,  
Все выше и выше,  
Мешая с вином свою фальшивую жизнь,  
Чтоб там, за чердачным окном,  
Мышью,  
Молча прижаться к холодному шиферу крыш.  
Прыжок и паденье. Полета – на целый миг.  
И ладно.  
К губам прижимать бесполезно иконки.  
Боже! Они опять сорвались на крик.  
Не надо!  
Прошу, пожалейте мои перепонки.  
Все, что потеряно здесь,  
Я найду в своих снах.  
Как они ласково греют мою ладонь.  
Вам туда не пролезть,  
Вам неведом страх  
Навсегда, навсегда разучиться чувствовать боль.  
Псы на меня не лают.  
Им наплевать,  
Какого цвета сегодня мои глаза.  
А я примеряю  
И ловко учусь менять  
Маски, поверх своего неживого лица.  
Вечер спокойно меня обнимает.  
Закат.

\* \* \*

Лабиринты замыкаются в себе,  
Угрожая похоронить тебя в своих стенах.  
Голос глух, как вой ветра в каминной трубе,  
Ветер – спертый воздух в твоих венах.  
Лезвие скользит по запястью.  
(чем пахнут листья убитого клена?)







Скажите, а боль всегда красная,  
Если тоска обязательно зеленая?  
А выход это всегда свет  
(Даже если твой город окутала ночь?)  
Нужно забыть значение слова нет,  
Если некуда больше идти, обычно уходят прочь.  
Ты видел призрак затонувшего корабля  
С крыши охваченного пламенем здания.  
Когда выпадет снег,  
Ты забудешь, что такое смерть,  
И поймешь, что такое земля,  
Когда летишь к ней с большой высоты,  
Ты,  
Считавший себя центром мироздания.



\* \* \*

Вытаскиваю из петли прошлого вчерашний день.  
Долго сижу над трупом.  
Ложусь венком на его могилу.

\* \* \*

В сигаретном дыму три сотни мертвецов  
Пытаются перекрыть мое молчание.  
Я уйду, оставляя им окурочек в стакане остывшего чая.

\* \* \*

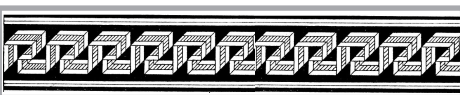
Меряю время сигаретами.  
Прошлое огромная пепельница.

\* \* \*

Можно любить и злую собаку, если она твоя,  
И даже смириться с существованием убийцы, если он не твой.

\* \* \*

Лето прошло. И опять сквозь завесу дождей я пытаюсь рассмотреть  
будущую весну. И мне странно не увидеть в ней себя. В апрельских лужах чужие  
отражения.





\*\*\*

Ты смеешься надо мной – да, я плохой флейтист, но каждый раз, когда я беру свою флейту, я слышу за спиной твой тихий смех и уже не разжать пальцев, боясь оборвать его. И смеюсь вместе с тобой.

\*\*\*

Перевернутое небо – экран, на зеркальной глади которого шут-механик крутит пошлые дешевые фильмы о чужой жизни. Волна тихого холодного возмущения пробегает по спине и подкатывает к горлу, когда в главном герое ты узнаешь себя.

\*\*\*

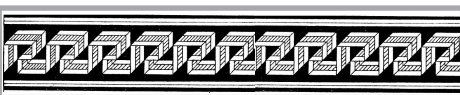
Твой призрак окликнул меня из-за угла. Попытка одиночества опять не удалась.

\*\*\*

У каждого человека свой дождь,  
Своя осень,  
Свое небо.  
Четыреста тысяч ночей опустилось на город.  
...Твоя играет на саксофоне...

\*\*\*

Если бы знать адрес, по которому живет моя Смерть,  
Можно было бы написать ей письмо,  
Послать открытку «С Новым Годом!»  
И как-нибудь дождливым октябрьским вечером  
По телефону договориться о встрече  
И долго ждать ее в полутемном вокзале,  
В обществе  
Бомжей, пьяных, беспризорников,  
Потому что поезд будет опаздывать.  
А потом встретить ее  
Как старого друга, с букетом желтых растрепанных цветов,  
На черном пустом перроне,  
Под морозящим дождем.



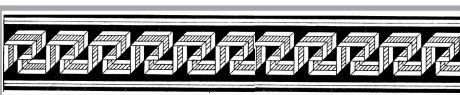
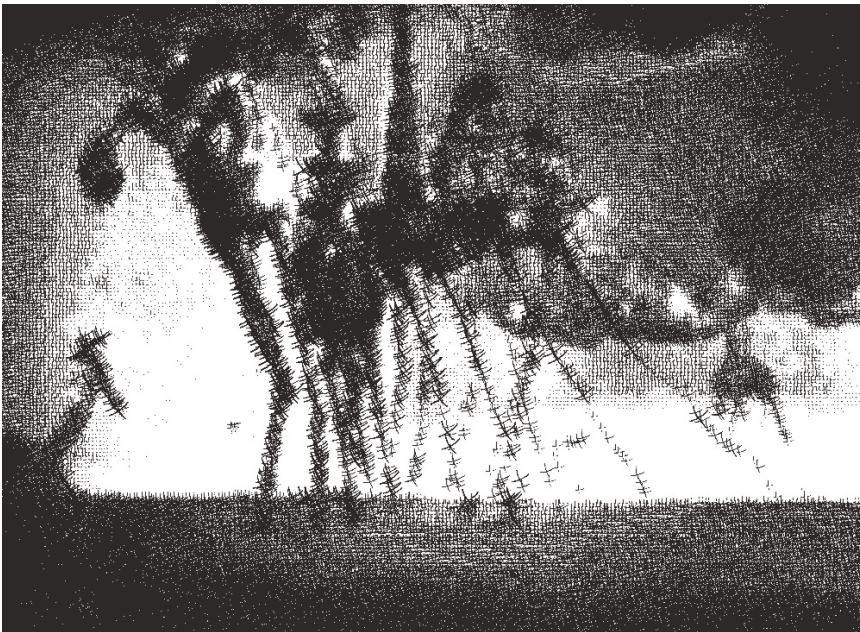


\*\*\*

Ты распускаешься апрельским цветком.  
Я вижу твоё отражение в стакане своего чая.  
Ты растворяешься в дыму моих сигарет.  
И восстаёшь из их пепла.  
Я ловлю твой взгляд.  
Он водой проходит сквозь пальцы.  
Ты танцуешь между молчанием и вечером.  
Я разбиваю часы.  
Эта игра так занимательна, что мы не замечаем, как за окном падает снег.

\*\*\*

Завидую спокойной мудрости реки,  
Склоняюсь перед живой силой ветра,  
Грубой щекой прижимаюсь к нежной траве,  
Восхищенно смотрю во всепонимающие глаза неба.  
Тяжело вздыхаю  
И не спеша ухожу, аккуратно толкая  
Перед собой свою душу  
В инвалидной коляске.





**Валерий Калмыков.** Родился в 1950 г. в Горловке, где и проживает в настоящее время. Окончил Литературный институт им. Горького (Москва). Печатался в местной и областной периодике.

\* \* \*

Опрокинусь в бессонную ночь,  
В упоение свежего ветра,  
И умчусь от судьбы моей прочь  
В потаенные дебри рассвета,  
Осиянного царства зари,  
Где живут, на младенцев похожи,  
Как волшебники или цари,  
Беззаботные пьяные рожи.  
Им плевать и на жизнь и на смерть,  
Им на черта плевать и на бога.  
Я умчусь, только надо суметь  
Не упасть у родного порога.

14.05.86г.

### ПОСВЯЩЕНИЕ

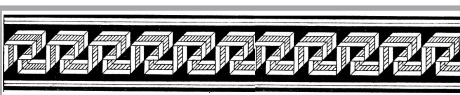
Бесчисленные ворохи бумаг,  
несметные флакончики чернил,  
неистово, как чокнувшийся маг,  
на строки о Тебе я изводил.

Я перья покупать не уставал,  
и ночью не гасил твоих свечей –  
лишь выразить бы губ Твоих овал,  
лишь высказать бы свет Твоих очей.

Синекдохи, повторы, перифраз,  
и паузы расставив по местам,  
я думал, что поймал сиянье глаз,  
я верил, что прильнул к Твоим устам.

Мне слышался, как будто, слабый вздох,  
я чувствовал касание ресниц...  
А Ты сказала просто: «Это – вздор!»  
и спряталась за ворохом страниц.

Москва, 9.04.86г.





\* \* \*

Напрасно петляла стезя  
моих удивительных странствий,  
когда просыпаешься в трансе  
и вымолвить слово нельзя.

Напрасно манила судьба  
в чащобу невысказанных бедствий –  
проходит со мной по соседству  
невысказанных бедствий тропы.

Идя, на мечту оглянись,  
вглядись ей торжественно в очи –  
увидишь во тьме среди ночи  
прекрасную женщину – жизнь.

И все же, напрасно любя,  
мы любим совсем не напрасно:  
в любви и коварстве прекрасна –  
та женщина верит в тебя.

2.10.84г.

\* \* \*

Божественна начальная строка,  
когда, еще не веря и робея,  
ведет ее горячая рука  
в объятия верлибра и хорея.

Прекрасна и невинна, как дитя,  
себя еще совсем не созная,  
то вдруг откроет истину, шутя,  
то отвернется в сторону, зевая.

Так наша совесть – первая строка –  
из сердца смотрит прямо и сурово,  
храня свое достоинство, пока  
последнее не высказано слово.

1984г.





ФАВН

*“ Un faune de terre cuite...”  
P. Verlaine*

Я старый фавн, усталый черт.  
Не кровь течет во мне, а пиво,  
А ты прекрасна и стыдлива,  
Но плоть твоя меня влечет.

Украдкой, по твоим следам,  
К Эдемским двигаюсь садам.

Моим грехам не кончен счет –  
В огне последнего порыва  
Стыдливых губ тугая слива  
Ко мне на бороду течет.

Так шел за Евою Адам  
Из рая в ад, а я – обратно  
Иду по трепетным следам,  
Перекрестившись троекратно.

Москва, 12.04.85г.

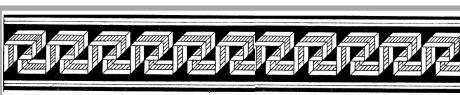
\* \* \*

*«И никогда тяжелый шар земной  
Не уплывет под нашими ногами...»  
М. Цветаева*

Нам не останется беды  
И о былом воспоминанья.  
Роняют белый цвет сады,  
Воздев к луне тысячедланье.

И если брошен наш венок  
Среди изъезженной дороги –  
Не у твоих сгорит он ног  
И не мои согреет ноги.

Нам не останется ночей  
И звезды не пребудут с нами.  
Венок в пыли лежит – ничей,  
И не под нашими ногами.







\*\*\*

Априори утолён  
Алгоритм моих желаний  
Неевклидовых времён,  
Скоростей и расстояний.

Свежесть формулы лица,  
Утончённость синусоид,  
От начала до конца  
Тайну юности откроет.

Кривизна небесных сфер,  
Беспощадна, как цунами,  
Атрибутов мысли сверх,  
Вдруг взорвётся между нами.

Небесцельный разворот  
Совершит фотон случайно,  
Озаряя небосвод  
Над твоей извечной тайной.

9.02.2000г.

\*\*\*

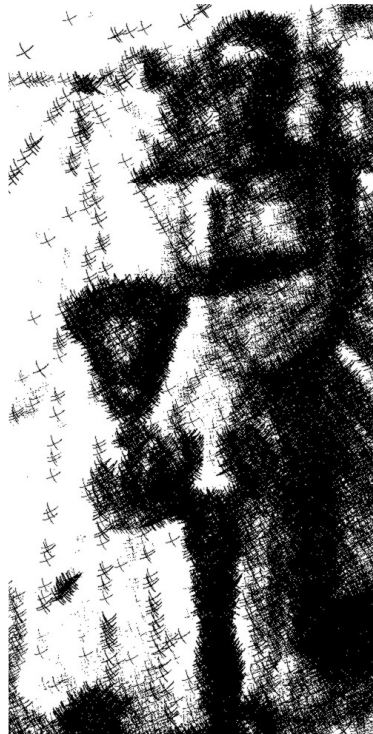
усталый путник радуясь воде  
лицом в ручей уткнулся пьёт и стонет  
и тонет стон в лохматой бороде

но как найти в проклятой пустоте  
живительный родник и лгнуть устами  
что укуса взалкали на кресте

и мы уже искать его устали  
и кажется что мы уже не те  
не те что так любили и мечтали

и снова распинают на кресте

1982г.





**Владимир Голиусов.** Родился и вырос в России в Белгородской области. В 1961 г. Окончил Харьковский национальный аграрный университет.

В Горловке с 1962 г. Печатался в городских, областных и республиканских изданиях Украины, России и Курачаево-Черкессии, а также в коллективных сборниках Донбасса.

Автор трех поэтических сборников: *«Родник души»*, *«Печаль осенняя костров»*, *«След угасающей звезды»*.

\* \* \*

О, этот поднебесный мир!  
Дарит печаль он и веселье,  
Весенний май и сладкий пир,  
И осень — горькое похмелье...  
Все в этом мире пополам:  
Добро сегодня, завтра — зло,  
Веселье — этим, тем — заботы...  
И паритет сей держит кто-то.  
Друзья, скажу я вам одно,  
Тот паритет не нарушая:  
Творите на Земле Добро —  
И будет в сердце больше мая!

2006 г.

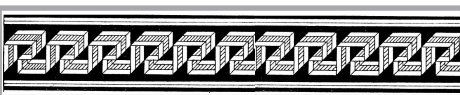
\* \* \*

Налью в стакан, а пить не буду  
Златое терпкое вино.  
В душе я чувствую остуду  
Давно...

Мир из окна, куда не глянешь,  
Он ограниченной вдвойне.  
Воспоминанья сердце ранят,  
Родной причал, — все о тебе.

На дебаркадере линиялый,  
Ничейный флаг висит еще,  
А я сегодня у менялы  
Закрыл свой счет...

Я уплываю за три моря,  
Я убегаю от тоски.





Там со стихией я поспорю.  
Кровь бьет в виски...

Иллюминаторы задраил.  
Взял я с берегом расчет.  
И белым флагом вишен мая  
Свой закрываю счет.

\* \* \*

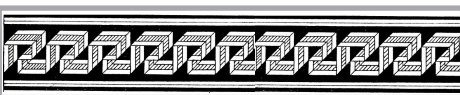
Так кто же я?  
Мучительный вопрос...  
Что для меня  
Земля,  
В подпалах рыжих осень?  
А память  
В прошлое забросит,  
Где предки жили,  
Где горит заря,  
И где хлебов  
Бескрайние покосы,  
Где аисты  
И щедрость сентября.  
Так кто же я?  
Наверно, не отвечу...  
И над землей  
Парит душа моя.  
Садится солнце,  
Заступает вечер  
На пост. Вращается Земля.  
Так кто же я...?  
...Наверно, не отвечу.



2006 г.

\* \* \*

Я видел разные края,  
Где улыбалась доля и не улыбалась.  
Вновь возвращался, где земля  
Малою родиною звалась...  
На взгорок поднимаюсь я,  
Мне роща песней отозвалась,  
Юнцом в былом здесь бегал я,  
Но никого здесь не осталось...



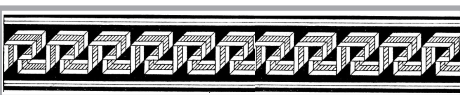


Весенний ветер бьет в лицо,  
Простор зеленый в окоме:  
Березы, рощи, озерцо —  
И тишина в отцовском доме...

### ПАРУС

Качается парус в лазури,  
Как чайка на синих волнах...  
Наверно, торопится в бурю  
И ветер поет в парусах...  
Наверно, спешит в мир блаженства,  
В мир сладкого счастья и грез,  
В мир праведный и божественный,  
Туда, в край свирелей и роз...  
А море шумит и ликует  
И парус мой тает вдали...  
(На пляже девченка рисует  
Космические корабли...)

Август 2006 г.







**Микола Курдасов.**

*Життя в сучасному й минулому – це ті реалії образного буття Миколи Курдасова, місценодження якого відбулося в краї, історично й географічно спорідненому зі «Словом о полку...», з боротьбою нащадків сіверян проти будь-якого духовного пригнічення.*

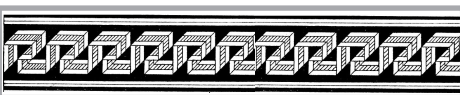
*Не так провінційність, як мовна по-кордонність почуттів крають навпіл його свідомість на шляху до самоосвідчення.*

\* \* \*

*І здалека запорожці чули  
як дзвонили у Глухові...*

*Т. Шевченко*

Дзвін на сполох гуде  
в старовинному Глухові –  
Листя кленів таке,  
що бруківки горять,  
І кошлаті круки  
насторожено слухають:  
Ані війнами йдуть,  
ані мор, ані глад ?  
У навальнім вогні, як дроти іржавілії,  
віти,  
Від осінніх пожеж





догора під ногами земля,  
Бачать барви – живі,  
і не чують ті дзвони – забиті,  
Може кров їх невинна  
листям кленів до нас промовля?

1980р.

\* \* \*

Дзвін соборний бринить  
в прикордонному Глухові –  
Над дахами дільниць –  
двокольорий парад,  
Дітлахи, як птахи,  
наполохано слухають,  
Як хоронять батьки їх  
в трунах Владу рад.

1991р.

\* \* \*

*Заспівайте сестро, заспівайте  
Про своє кохання бесталанне...*

*Нащо і співать, як не журна.*

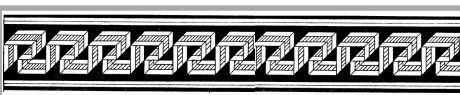
*Л. Кисельов*

В Донбасі й на Волині –  
Однакові пісні,  
В «сім,ї великій, вільній»  
Нові, але журні.

*Приспів:* Тарасе! Батьку! Брате!  
Воскреси в судний день!  
Навчивши сумувати,  
Чом не навчив співати  
Веселої – пісень?

Ми з лихом наодинці,  
Чи зберемо, чи ні?!  
Які з нас українці –  
Такі в нас і пісні.

*Приспів той самий.*







Керманичі нікчемні  
Із нас самих були,  
Розумні – до кишені,  
Та бідні – в голові.

*Приспів той самий.*

Нам і на тому світі  
Окремо – бідувать  
Й нема з чого радіти,  
Якщо не заспівать.

*Приспів той самий.*

\* \* \*

*«У неї враження сумні...»*

*(з листа про відвідини Донбасу киянкою,  
колишньою мешканкою Горлівки)*

У неї враження сумні...,  
А що вже в нас – й казати годі.  
Адже Донбас – це, власне, ми  
І – сірість о любій погоді.

Ось, зірка-бджілка – на обліт,  
Їй в надвечір\*ї нічим дихать,  
І все сірішіє блакить,  
І все густішіє безвихідь.

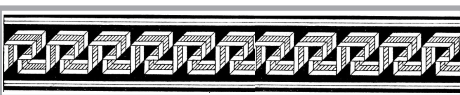
І вже не в змозі й заспівать –  
Бездія висотала сили.  
Все менше можемо випивать,  
Все більше сходимо в могили.

### БІЛЕ МІСТО

*Я люблю свою землю співучу,  
білопінне кипіння весни...*

*В.Раєвський*

Біле місто в білому кипінні  
Радо посміхнулось навесні





Днині, як омріяній дівчині,  
Кленам, що навколо, чи мені?

Глухове! Чи був я вірним сином,  
Відданим, незбореним, коли  
Бивсь на мурах, чатував на стінах,  
Кров,ю окропляв твої вали,  
Шоби білих квітів біла піна  
Хлюпотіла в вулиці твої?

Біле місто в білому кипінні  
Радю посміхнулось навесні  
Сонцю, рудоватому хлопчині,  
Липам, що навколо, чи мені?

Глухове! В пташиному польоті,  
Як птахів, дочок своїх й синів  
Приголуб, відверни від скорботи  
За життя несіяних ланів,  
Бо то є найтяжча робота  
Відлітати до чужих країв.

Біле місто в білому кипінні  
Радю посміхнулось навесні  
Першій ліпшій стрічній господині,  
Райдуги півколу і мені.

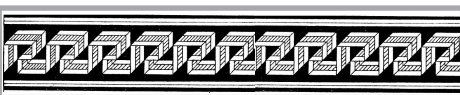
## ПРО ВОЛЮ

*Одно влечение: слышать гам,  
Чуть прорывающий застой,  
Бродя всю жизнь по хуторам  
Григорием Сковородой.*

*В. Нарбут*

Здобували – таку жадану...  
Спробоглися таки - нарешті:  
Добровольцями – у вигнання  
І оселями – під арешти.

І вже та, котра чари мала  
Над буденним і над злиденним,  
Наче квітка в руках зів'яла





Від потвори свого імення.

Невибагливих, але мрійних,  
Головний передрік провидець:  
- Якщо вдома вам ненадійно,  
Гайда, майже усі, на Місяць?! -

І, ще поки прийшли до тям  
(Чудернацьке – завжди зненацька),  
Першу голову вже відтяли,  
Як окрайцю під сіль чумацьку...

Зерня спить у земній колисці,  
Хто не згодні – в Європи пишуть,  
Хто на візку – шукають зиску,  
А Григорій – на хутір, пішки.



\* \* \*

Врятує слово, сповідь, совість,  
Яка ж ти, істино, проста:  
Життя - поезія, натомість,  
Чи п\*ють її оскрізь вуста?!

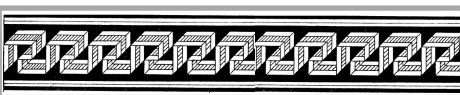
Весь світ – в собі, чи більше треба?  
Душа ж – невинне немовля,  
Летить кудись до спраги неба,  
З якого голос промовля

Одне однісенькеє слово,  
Шепоче, прагне, як води,  
Від нас для нас – блага любові.  
Душа моя, не підведи!

\* \* \*

Я відчував самотність переможця,  
Коли уgliedів зненависть і страх,  
У тих очах, що також прагнуть сонця,  
У душах тих, що прагнуть – по вітрах.

Потрібен час переболіти жалі  
І відновити здібності бджоли  
Носити мед, а якщо ядом жалить,  
То з тим, щоб вмерти, раз і назавжди.





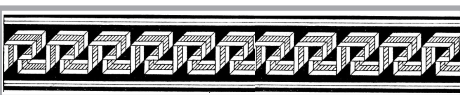
В вустах медових о порі цвітіння  
Злились в любові гречка й еспарцет,  
І пасічник із добрим намерінням  
Збира з гіркотним присмаком цей мед.

### ТИ – НЕ ВОР СКЛА

Ти – не Ворскла, не вор скла,  
Та годинник вкрала братів,  
А була ж бо – „Обеста!”,  
Обе стали... обе раті.  
У дівочії віки  
Зупиняла війни, війська,  
Та втекла в чагарники,  
Як в заплави – пасовиська.  
Між осики і куги,  
Де несеш водиці жмені,  
- Бульк! – годинник від нудьги,  
Мов циганці до кишені.  
Скільки віку вікувать –  
Підрахуй з ним і не зарся:  
- Віддавать – не віддавать -  
Бо заіржавіють пальці,  
І стече крізь них вода,  
І почувеш над собою:  
- Ось - Циганочка брудна,  
А була ж бо Обестою.

\* \* \*

З нічого зірвалась злива,  
Калюжі штурмують мужні,  
Із вікон стирчать ляжливо  
Розсудливі та долужні.  
Природньо – усім під небо –  
Дірявую парасолю,  
Бо манна небесна, це ж бо –  
Ця повинь на ґрунт юдолі.  
Зросли на дарах цілющих  
Хоробрі і інтраверти.





Даремні нам райські кущі,  
Коли – не на боці перших.

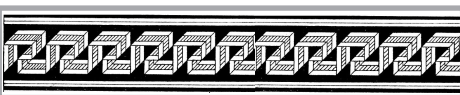
\* \* \*

Кревні родичі мої  
П'ють літа свої із Лети,  
Мабуть, п'ярко п'ється їм,  
Бо всміхаються з портретів.  
Попри всякі негаразди,  
Що цькують у світі цім,  
Кревним родичам не заздрю –  
Посміхаюсь їм усім.  
За добро і за тепло,  
Як зустрінемось – віддячу,  
Ще й за те, що хатнє скло  
Не зайшлося стіною плачу.  
З образів лишень – сльоза –  
Передвісниця Месії...  
Мо, до зустрічі, Бог зна...  
Пожинаю, що посіяв.



### СПОКУСА

Яка ж то спокуса - невибраний сад!?  
Ми бранці його, бо його охоронці,  
І, доки зелений у нього наряд,  
Купаємось в яблуках, як в ополонці.  
Зчорнілі і схудлі, від того і злі,  
На поверх один лише вище собаки,  
(шляхи розбудов нас сюди завели)  
Вкушаємо з нею однакові злаки.  
Невже до снаги нам проклятий статут –  
Стояти на варті достиглого плоду,  
Коли із горища тече каламуть  
На змучені плечі могого народу?  
Свавілля дощів і нікчемних людей,  
Зневажить і наші найчесніші душі,  
Як злодіїв роблять змаганням ідей,  
Бо змушують, змушують, змушують, змушують...  
Чатуй марнотратство, воно не мине  
За розкладом цім і в двотисячне літо,





Допоки "Адамам" тим не перемкне,  
Що яблуко з віток - спокуса для діток.

Серпень – 93 р.

\* \* \*

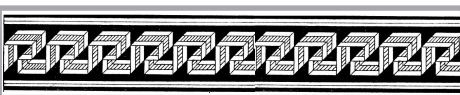
Саджаю деревце вічнозелене –  
Цікавий подив у в очах мірян.  
Та викликом часу кричить до мене  
Щоранку переламане гілля.  
У відчаї я рук не поламаю,  
Сідаю будувати літака,  
Бо інших адекватностей не маю,  
Як винний хмарочос атакувать.

\* \* \*

Знов нічого не трапилось.  
Все лишилось як є.  
Марне слово поквапилось  
І у вірш не стає.  
І заснути несила.  
Сподіваюсь на щось,  
Мов на пізнім весіллі  
Всі чекають на дощ.  
Не сплачу ж бо в аванси  
Невідкладні борги,  
Прокидаючись вранці  
Не з тієї строки.  
Та нічого не трапилось,  
І у римах дощів,  
Як в поверженім прапорі  
Недолужно душі.

\* \* \*

Відірваному від землі і неба,  
що робити мені в надвечір'ї,  
коли раптові тіні стають більшими за людей,  
а плин сонця таким прискореним,  
що помічаєш його тільки з прощальним променем;  
зір гострити на втрачене вочевидь,  
дослухаючись шеліту трав послулих,  
бавлячи марно їх запізнілим «люлі»,







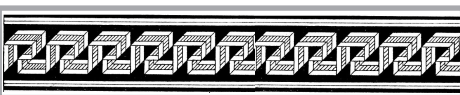
в прохолодній ваті туману борсатись,  
як в незрілім вчорашнім,  
в спробі за зниклий обрій злітатъ  
під наглядом химери-мети,  
щоби врешті-решт  
повернутись вночі до себе?

\* \* \*

З гуртожитку,  
Що височить навпроти,  
Очима замріяних вікон  
Впритул розглядають мене,  
Дівчата, різні за віком.  
Аж ніяково стає  
Під цими жагучими поглядами,  
Неначе чийсь відчуваю дотик,  
Чи пам'ять силу спогадами  
Про мрію свою єдину,  
Що такими ж ясними очима  
Вдивлялася в мене  
крізь сплетіння  
Поглядів випадкових,  
Але не впізнавала,  
Свідомо, ачи помилково ?  
Чому ж мені ніяково ?

\* \* \*

Всі дороги ведуть до любові  
Крізь невдачі, поразки, смеркання,  
Крізь байдужість в обличчях прозорих  
І нечемність старого чекання,  
Крізь оману захоплень хлоп'ячих,  
Сніговії із болю і смутку,  
Проведи мене, серце гаряче,  
До мого головного здобутку,  
До моєї граничної вежі  
Із натхнення чуття мого й слова,  
Не полиш у шуканні бентежнім,  
Проведи, доведи до любові.





\* \* \*

Не треба, друже, про сумне,  
Хоч навкруги туга осіння,  
І вітерець надсвіжим тхне,  
І ніс щекоче павутиння,

І в колір сніжного авта  
Фата, як пам\*ять лебедина,  
В якій над натовпом зліта  
Новоосвідчена дружина.

Не треба, друже, про сумне,  
Бо тим цілюще буде зілля,  
В якому хміль отрути є,  
Як на оцім твоїм весілі.

А ще казали: засівай  
Здоровеє насіння роду,  
Коли в засіках весь врожай  
Й остання тиківка з городу.

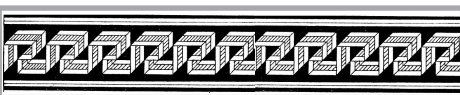
Не треба, друже, про сумне,  
Нехай воно нас омине.

\* \* \*

Тиша твого голосу така заспокійлива.  
Вітер твого погляду відрива від землі.  
Всесвіт душі твоєї мною заповнений.  
Як же мені, відсутньому, в себе ввійти?

### ПРОЯВ ЗІРКИ

Ти –  
Натурщиця Гогена:  
Поза часом – зір Версачі,  
В мене – мовная гангрена,  
Язикова ампутація,  
Вартовим, не вартим – осліп,  
Принагідна - хибна, гідність,  
Десь в дорозі, досі, досвід –  
Недоторкана вагітність,  
Пензлі – пенсія митцеві,





Полонези – на тамтамі...  
Ось - життя крізь призму скелець:  
Прояв зірки на місцевість  
З негативу в фотоглянець.

\* \* \*

Ну от і все. Життя скінчилися жарти,  
Усміхненість народжень і весіль,  
А чи ж я був хоч би єдиний вартий,  
Хоч би єдиний, їй передусім.

Адже прийшов я в ваше чисте поле,  
Де скніли вже зневірені круки,  
Щоб засівать насіння розумове  
Чи той же смуток на довгі роки,

Чи злак зібрав, ачи гірчичне зерня,  
Чи заздрощі обіч чужих ожин,  
Чийсь біль сприймав цілющо ачи зверхньо  
І тільки удавав, що тим і жив?

Затим заляк, як осінь на порозі  
У куряві з горілої стерні...  
Птахам – у вирій. З ними по дорозі.  
Бо ти не посміхнулася мені.

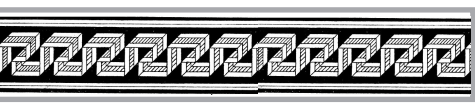
\* \* \*

Починалось з вітрів,  
із нестямних в собі буревіїв,  
Потім – вибух великий  
і розпачу зоряний зойк,  
А чи був, може, хтось,  
хто у темряві людяно мріяв,  
І напивсь самоти,  
і навивсь в порожнечу, мов вовк.

Чи скінчилось воно,  
те створіння сліпе, як найперше,  
Бо і досі не знаємо: звідки  
й куди ідемо?  
Норовімо у світ невідомого,  
віршами гречні,



\* \* \*





А встряємо у краще  
оформлене кимось ярмо.

Чи збагнемо в собі,  
що корінням із неба, а в кроні  
Проростаємо мовами  
від правітрів?  
Мо, й не бавився хтось,  
та зернятко розумне обронив  
В тую землю пустельну  
де встать мали Глухів\* і Рильск\*\*

\* \* \*

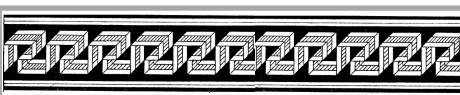
Пісні мої – тобі єдиній  
В найкращу мить мого життя,  
Коли зневага до загину  
Сильніш за інші почуття,  
  
Коли пізнав на піку віку,  
Що світ, народжений для нас –  
Не чатуватиме шулікой,  
Чи не обірветься струна

І зірве звук, що визрів в слові,  
Як знак, як злак, як певний акт  
Новонародження любові,  
Що обумовлена, як факт.

**Р. Л.**

Вона була цнотлива і цікава,  
Ласкавою до іншого була,  
Любила вишні і вірші писала  
Про вишні свого рідного села.  
Розквітла у літах і не зів'яла  
У лихолітті долі і жалю  
За вишнями, котрих давно не мала,  
Ні в рідному, ні в іншому краю.  
Та у віршах, як у літах розкішних,  
Жаринками з подільського села,  
Мов сон дитинства, полум'яні вишні  
Вона од серця до людей несла.

\*Глухів – від «з луків» - из лугов (рос.). \*\*Рильск – від «рілля» - пашня (рос.). (Міфотворення від М. Курдасова.)





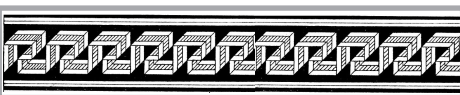
\* \* \*

Навдивовиж прозоре небо,  
Мов не засмучене лице.  
Неначе усміх, білий лебідь  
Застиг на мить над озерцем.

Немовби ключ першопричинний  
Незрозумілості буття –  
Така байдужість до загину,  
Така жадоба до життя.

\* \* \*

Відірваному від землі і неба,  
що робити мені в надвечір'ї,  
коли раптові тіні стають більшими за людей,  
а плин сонця таким прискореним,  
що помічаєш його тільки з прощальним променем;  
зір гострити на втрачене вочевидь,  
дослухаючись шепіту трав поснулих,  
бавлячи марно їх запізнілим «люлі»,  
в прохолодній ваті туману борсатись,  
як в незрілім вчорашнім,  
в спробі за зниклий обрій злітать  
під наглядом химери-мети,  
щоби врешті-решт  
повернутись вночі до себе?





**Максим Стрельчук.** Родился в Горловке, учился в индустриальном техникуме и ГГПИИЯ. В настоящее время проживает в Калининграде. Поэт и художник, приверженец “черной романтики” в стихотворстве и изобразительном искусстве.

\* \* \*

Помню, как две сумасшедшие женщины  
Что-то искали в моем одиночестве,  
Выцветших губ воспаленные трещины  
Тихо шептали: «Чего тебе хочется?»

Черные платья скользили под пальцами,  
Пальцы скользили под черными платьями,  
Словно хотели поглубже запрятаться –  
К чертовой матери! К чертовой матери!

\* \* \*

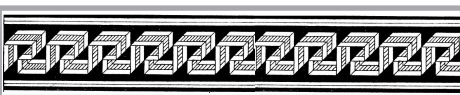
Свинья заглядывает в шар  
И видит в нем змею.  
Вокруг змеи клубится пар  
И струны тихие поют.

Свинья заглядывает в шар  
И падает на снег.  
К свинье подходит не спеша  
Покрытый пеплом человек.

Он вынимает этот шар  
Из глубины свиньи  
И понимает, что душа  
Его лежит внутри змеи.

И он несет его домой  
И греет у огня.  
И там становится свиньей  
Теплом согретая змея.

А человека больше нет –  
Он превратился в шар.  
Внутри него – Покой и Свет.  
Внутри него – душа...







\* \* \*

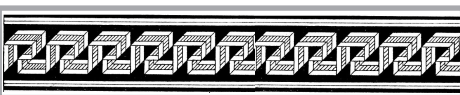
Пепел пуст. Прочь вышел дух...  
Ночь, вечно будь с ним!  
Свет, вечно будь в нем,  
Спи, или стань сном  
Круг и еще круг.  
Круг и еще круг.  
Круг и еще круг.

\* \* \*

Она молчит, суставом за сустав  
Крошит холодных пальчиков  
        клубок,  
Сжимает рот и в черный потолок  
Свирепо молится, молчать не  
        перестав.  
Молчи и ты, визгливых петель  
        медь.  
Замочных скважин ржавые глаза,  
Паучьи гнезда – серый страшный  
        сад...  
Вернись назад! Зарделая вода  
Сосет себя из трещины на свет.  
Полынный сок на сладких  
        проводах  
И полный череп слипшихся монет



На всем печать нечаянного зла...  
И даже сердце кажется песком,  
Молчит... Распухшим, твердым  
        языком  
        Шевелит под щеками...  
        Подняла  
Чумных ресниц неслучные крыла,  
Все поняла... Сегментом за  
        сегмент,  
Фаланга за фалангой отползла,  
Сгустились в тьме струей шипучих  
        лент.  
И только хруст невидимой  
        борьбы,  
Разодранные выдохи и стук  
        Высокой капли...





**Юрий Меньялло.** Родился в 1958 г. в Горловке. Печатался в местной прессе, журналах "Родомысл", "Соты", альманахе "Злато стрема". Автор поэтического сборника "ВРЕМЯНОЯИ".

## ИГРА В БИСЕР

игра в го по клеткам клетки  
близка к завершению любовь двоих  
все фишки окружены одиночеством в Вавилоне

ты смотришь в микроскоп и содрогаешься  
видя все ту же жизнь история обещает  
худшее

две яйцеклетки в одном  
может быть стали бы пропуском в Марс  
беспристрастную атмосферу каналов

можно долго об этом думать забившись в тупик  
прижимая лицо к твердой надежной поверхности  
открывать глаза в непроницаемость

можно пытаться бежать лабиринт возвращает  
центр благоустроен смертью зачем желать  
невозможное боги возьмут свое

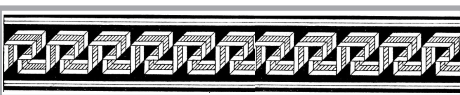
в конечном итоге игрушки и клетки  
для чудовищных ставок любовь двоих  
окрашена в розный цвет ставки

мы много о них слышали верили  
нас они уводили в тьму  
в которой себя мы не находили

слишком большие для микроскопа ничтожные в  
вселенском масштабе  
мы посредине лестницы

было б чего бояться пасть и лететь как у кленов октябрь  
ярко красный как кровь перед тем как свернуться  
мизерный срок жеста

и чувств длительное благополучие склепа





взаимное поддержание немощей духа  
с судорожными провокациями на экстаз

о это может тянуться достаточно долго не  
ограничиваясь праздниками и постами  
траурами по апрелю и августу

так было всегда для планетарной блохи  
но уют сменяется катаклизмами  
вызовом выживания в гибели

неизбежное предстает отвесно куда тупиком  
может быть мы передумаем исправимся будем  
вести себя лучше все бесполезно и дело не в том

конечно какой-нибудь подвиг вспышкой  
на миг  
являет наше убожество и направляет в тот же тупик

кому чем есть гордиться по-окончании знать бы потом  
за которым не будет потом  
а павшие листья сжаты как кулаки возмездия хакарири

рыба ест себя будучи безразличной к малым  
частям экологии крест воздвигается на лысой горе  
как маяк и предостережение отставшим

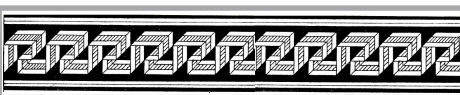
чувство между двумя оборачивается стороной леса  
уравнением с разными координатами  
постоянного несовпадения в то

что казалось бы и было раем непритязательным  
на двоих  
к чему эти множества множеств взыскующих рая

чет и нечет полны и невызываемы ухищрениями шарлатанов  
мы палочки перебираем блюдя жизнь  
мы в дураках проигравших

чет и чего-нибудь другое что оставляем на потом  
уступая зубной боли и голоду  
постепенному умиранию тела

свет гаснет сам по себе безучастно тьма как мать сочувствует  
мы можем еще и постараться  
он и она они созданы для друга не как снег





он падает врозь как арканы рубашкой вверх  
все сулит ничего не обещает  
кроме любви

и что там получится будет видно потом и никогда  
они траванутся или загрызут друг друга насмерть  
инь и ян плодоносящие груз на плечах подонков

он у него есть шанс состариться она  
всегда будет молодой перед зеркалом внуков  
как все это безнадежно во времени

невозвратимый октябрь и аллея где время замкнулось в листве  
в ожидании лучшего времени мы  
были бессмертны

### В И Й О Н

иду и боюсь под ноги глянуть  
небо подо мной: по-щучьи  
скользят идеи парят самодовольные монады  
смыслы моей жизни скрещиваются крестами окончательности

минуты моей жизни шепотом переговариваются у меня за спиной  
скорей всего осуждают и сплетничают за свой счет  
я бы большего не хотел отработанным дружелюбием  
отсылаю Спасителя прочь на стрелку с объектами жаждущими

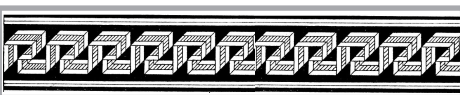
все равно никому не собрать мое повсюду рассыпанное  
никто не оденет слова оброненные в им подобающие одежды  
я вечный бродяга боюсь под ноги глянуть  
тем паче назад

я меряю шагами расстояние между веками мне не до того  
забег на глобальную дистанцию рассеянно  
восхожу на помост, щас —  
подымут и я увижу

### ФАУСТ

карету мне и я уеду  
ты вздохнешь с облегчением будешь смотреть в зеркало внушая  
одиночеству что оно не одно и все  
прекрасно закончилось

я пропью остаток печени  
ты выкрасишь седину в лисий цвет кто





виноват  
что мы оказались в месте облома этого мира

здесь сделок заключают больше чем завтракают  
и любят оптом и подешевле и  
в аквариумах водятся сплошные пираньи по  
книгам  
в засаде ждут анекдоты

итак

приеду в N открою печаль  
как сэндвич и выброшу содержимое свиньям  
с каким-то удовольствием осознавая что ты делаешь то же самое  
может пойду на проповедь или в кино для удовольствия пропишусь  
в охотничьем клубе ты совершишь подобное наконец  
научусь невозмутимости за рулем переезжая собаку



научусь спать как труп не мучаясь медяками предыдущего дня  
угрызения для больных я  
воскрес абсолютно здоровым испытывая радость  
симпатичности наших процессов

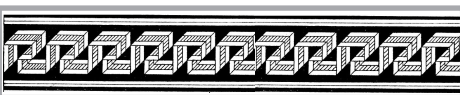
скорей всего и к психиатру мы пойдем вместе  
но в разных географических координатах с удивлением  
обнаружим полное выздоровление  
нужно только одеться в очки и смотреть  
не-пристально  
не задерживаться умом на любом и всяком

лишь безнадежно больным дозволено напрямую  
бороться с смертельным недугом и ангелами его  
я проживу еще долго скользя по истории с личным гидом  
в каждом лупанарии убеждаясь что и память о тебе жива  
вечно

мы становимся силой среди сил легко  
карабкаемся на Парнас избегаем петли и костра происходящего  
его бессмысленного диктата пусть слабые плачут  
и сами себя пожалеют и платят и терпят  
пост ежедневия

мы стали легендой т. е. вошли в то  
откуда вышли прямо на эшафот  
но проявили картезианское благоразумие  
с понятливостью разъединив понятия ты и я

впредь больше совсем не мучаемся в осанне остановленного кадра





есть и розы с небес вместо бомб и прочих осадков  
есть незаслуженное но доступное

так о чем бы мечтать

одна беда что мы никогда не встретимся,  
душа моя

\* \* \*

Снег и что-нибудь для экзотики  
Вроде пустых бутылок или мятых следов  
Эха вчерашнего воодушевления  
Это утро канунов – холод и снег

Навалившись на крест я смотрю на тебя через стекла  
Пытаюсь понять свою память  
Распятый на раме я кровотоку как вошь  
Оборжавшаяся

снег за тобой

Зеленый как моя кровь  
И он топчет дорожку к апрелю

### ПЕСНЯ ВЕДЬМ ИЗ «МАКБЕТА»

*«Не обмани меня дурная слава...»*

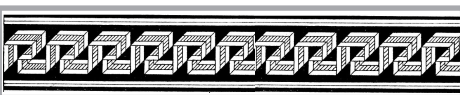
*М. Цветаева*

огонь горит огонь горит  
и варево в котле кипит  
и мандрагоры красный корень  
как юноша пьянящ и горек

а там на море за версту  
русалки кажут красоту  
и песней гасят угольки  
какими дышат моряки

где милый дом очаг и чада  
тем ничего уже не надо  
чтоб только эта песнь одна  
и телу чтоб достаться дна

а мы смотри на нас бодрей  
превыше цезаревых дней  
превознесем тебя за раз







ты только будь потом за нас

когда судьба на тебя глянет  
и ты оденешься в багрянец  
и вся Шотландия до «я»  
— та что дороже глаз — твоя

и что застенчивой души  
дороже средь поповской лжи  
супружья верность без оглядки  
оденет красные перчатки

твой грех наденет на себя  
мученья сметныя терпя  
за кругом адовых мук  
как твой наивернейший друг

кто знает за-границье сфер  
измерял мерой меру вер  
кто ведает — что за спиной:  
а может быть Господь — Иной

а может мир лишь ложь и сказка  
прельщенья льстивого подсказка  
для чувств но выше всяких чувств  
искусство среди всех искусств

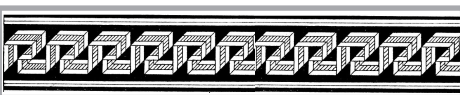
быть мерой меры жизнь для вся:  
вола хозяина и пса  
и оборвать судьбу не то же  
что хранных ангелов ничтожить?

где в этой жизни честь и суд  
пусть здесь на блюде подадут  
а если нет их без оглядки  
с неведомым сыграем в прятки

и если правда глубока  
не оставляя на пока  
пей горечь ярого вина  
дабы душе достаться дна

и пусть тот рядом кто стоит  
приимя забубенный вид  
получит все

всего — не надо  
зачем прирученное стадо





зачем хранение без риска  
и вечность без обрыва близко  
нашто дешевое вино  
что скисло в временах оно

и пусть история лукаво  
потом ведет лъстеца рукой:  
пусть лучше уж такая слава  
чем — ни  
какой

## РОДИНА

я по снегу иду по следу  
утопаю а все ж иду  
белый ворон и черный лебедь  
оседлали вершушки в саду

я потом не вернусь не вспомню  
это все как бы бред и сон  
запах дома и свет жаровни  
и копытная пыль времен

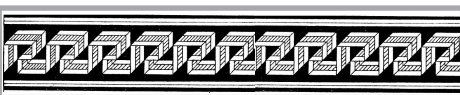
я по следу иду утопаю  
ты куда завел меня след  
это родина но другая  
а моей что уж вовсе нет

или бред это пыль и только  
или сон мне в котором жить  
мне б мой дом вот чуть-чуть на столько  
лечь и руки сложить

## КАТЕРИНА

утопленница всплыла слишком поздно  
ее любовь перестала быть любовью  
обросла складками благополучия и стала благоразумной  
достигла счастливой симбиотичности  
быта трупов и рыб

что-то конечно осталось на воде  
звезды или луна ива у берега





так  
эфемерно

слова – пообъективнее их учат в школе  
правильно употреблять  
без угрозы изжоги запора чтоб сразу  
как все

милая ты бы могла и не вплывать  
так было бы лучше  
всем  
зачем тебе девальвированная реальность

снова безмерно страдать на что  
ты стала похожа  
так еще один пережиток хотя  
что-то конечно осталось слишком

слишком поздно то что ждало тебя и было обещано  
нет его ждать перестало вот  
если бы раньше и вовремя  
или когда-нибудь в не-сейчас

возвращайся  
и жди

## П Ь Е Р О

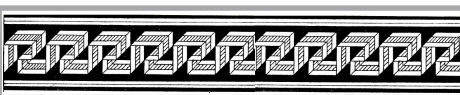
думаю что делаю как живу не живя  
после спектакля меня укладывают в гроб коробки  
и задвигают в угол до следующей реинкарнации

хочу понять себя а хозяин велит пляши  
и есть свод небесного зала где любят и ждут  
мою роль потому я неполноценный

закрытая луна не всходит свет ниоткуда чадит тьмой  
пляшу подпрыгиваю и люблю на веревочках  
после смерти раскланиваюсь и – в коробку

думать что делать как рассветы и горизонты  
залапанные светом который тьма короба вымысел  
недоношенного желания о коломбина что

что там за стенкой кроме хозяина и балагана  
может жизнь иная чем рабство роли  
там ты и я зашторенные от всякого взора





и злая воля не лезет в сюжет и пусть мы  
не счастливы благополучны и будем жить долго  
и умрем (– без последствий)

## УЗЕЛОК

1

узелок  
на вечную муку валенок тонет в сугробе  
детство кашляет и задыхается  
смотрит на все сквозь слезы  
оставаясь при том миловидным на вид

узелок

крылья в мешке за плечами крылья  
с которыми не летают на  
вечную муку прощаний и расставаний родства  
и уродства судьба  
уселась и погоняет узел

2

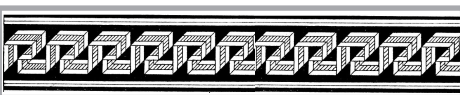
сегменты расходятся лезвия прокрустова ложа  
лифтер говорит «пожалте» смерть предлагает  
услуги со скидкой слюнявит перчатки дам навязывает  
подарочный буклет из обоих заветов  
клянется в своей естественности и добролюбии

выдох эпохи чреват катящимися головами  
и пирамидами из черепов сон продолжается  
но им правят иные образы  
кальциевая культура укатывает серотонин  
в горизонтальные стены плача

ты перелистываешь вчерашнее лицо  
и идешь чистить зубы

3

я разлюбил свои стихи слова волшебства на металлоконструкциях  
общений я птичье чучело на левом плече Твоем





ангельский вид Кидда

пластырь и доллар

голубь и ворон кровь и железо мертвые  
снизу смотрят на звезды на наш мир пугающ аки Ад я  
забыл слово вначале

спускаюсь по каплям дождя  
оскальзываюсь на слезах хочу махнуть крылами  
которых у меня нет сочиняю слова нить Пенелопы  
а впереди вечность вопреки позывам тела оно  
мне твердит что (что?) я Тебе ничего не должен

я опускаюсь в что зовется Адом

никто

не спасен не избавлен все заняты ежедневием зла  
лодка скользит по глади и тонет  
кто-то об удочке беспокоится кто о семье о теле  
цветок бросает нож гильотины на  
чувственный провод Китеж  
пускает пузыри оттудова кипит  
болото глаз замыкается пленкой мы встретились  
телевизор уехал последним автобусом end  
сериала курю беседую курим иду  
дальше по улице как спускаюсь лестницей дальше  
- ниже и хуже Отец, что



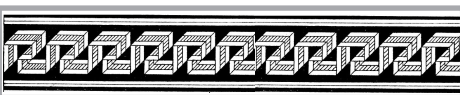
что я забыл червь во чреве вещей слеп и безжалостен время  
жрет и жаждет  
нас не дождется наша любовь будет вечной по  
по телевизору

4

я хочу умереть я хочу умереть умереть умереть  
моя прошлая жизнь яд яд и кости порно третьего тысячелетия  
потуги братьев Люмьер в живописи  
я хочу без тебя я хочу

я хохочу без тебя хохочу не умею смеяться хочу  
умереть от смеха принять яд и уснуть  
хохоча

я смеюсь я хочу умереть от хохота





## РЕКВИЕМ НАД КЛЫБЕЛЬЮ

*«Слушайте, благороднорожденные. То, что называют  
богами и демонами, это же и является Марой.»*

*Мачиг Лабдон*

*«Нам только в битвах выпадает жребий,  
А им дано гадая умереть.»*

*Осип Мандельштам*

мама дай мне сапожок  
прыгать через бугорок

как я прыгну не вернусь  
ясным князем обернусь

стану княжить вдалеке  
об одном о сапожке

стану я смотреть вперед  
в то которое придет

в то где зреет дивный сад  
и там нет пути назад

(примет божьего раба  
не-ведомая тропа)

а там светят небеса  
(я рукой застя глаза)

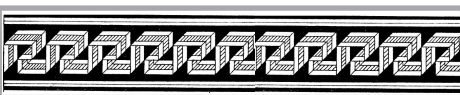
страх свой песней напугав)  
приму горечь горьких трав

и пойду другой тропой  
той что светит за тобой

той – где свечи не горят  
и где нет пути назад

(пляшут бесы кувырком  
рядом здесь за бугорком)

и за мной одни кресты







на кладбище только ты

краше всех стоишь одна  
и червонная луна

отворяет двери мне  
чтобы мне гореть в огне

только мне не страшен жар  
я б навстречу побежал

да в твоём то сапожке  
ад пробегнул налегке

через сором через мор  
из-за моря из-за гор

а и все-таки вернусь  
разгоню рукою грусть

сброшу княжество и власть  
упаду как ниже пасть

у подножья бугорка  
без твагова сапожка

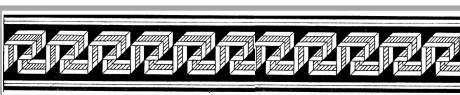


### ПАЖ

роза цветет улыбается королева  
воспетое возвышенное реально  
душа моя воет и рвется в оковах  
я тоже умею любить не могу

срезан букет сыграна партия  
душа моя она улыбается королева  
вешает все мои мысли она  
не любит меня я рисую свою смерть  
чтоб ей это понравилось

душа моя я люблю тебя королева велит  
мне умереть душа моя  
ты другая смерть под курганами спит  
мы бежим полем взявшись за руки смерть  
душа моя





## УРОК

кто ты я белый свет мрак  
вокруг света  
это зачем и для чего

я просто играюсь отвечает бог я  
бегу босиком как бог по юной тверди  
и становлюсь старым

ты я черный валенок возле печки зимой  
бесчисленные ожидания утра  
в обнимку с секирой

расхристанная душа кто бог  
умывает руки захлопывает багажник  
и дает задний ход творению

что

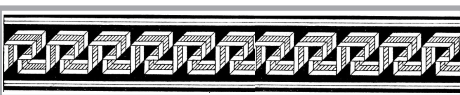
\* \* \*

мой ясный день мой день вчерашний  
ты и на завтра не зачат  
и века сорванные башни  
как бабы пьяные лежат

вдоль снега вдоль зимы падучей  
где прятал все и не сберег  
а что улыбка только случай  
на рельсах рельсам поперек

здесь в этой осени туманной  
она предшествует весне  
мир снова пристает со странной  
и злой претензией ко мне

я думаю что он ошибся  
и обвиняемый не я:  
вчерашний день не совершился  
и свет его не воссиял





**Денис Титов.**

*Родился в Горловке, окончил  
Донецкий институт туристического бизнеса.*

*Рассказ «В местах ссылок» – его первая  
публикация.*

*Издавна известно, что жизнь –  
игра, но что эта игра напоминает русскую  
рулетку, стало очевидным в контексте  
литературы XX века. Итак, несколько цитат:*

*«Сообразно с законом, Цинциннату Ц.  
объявили смертный приговор шепотом».  
«Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К.,  
потому что, не сделав ничего дурного, он  
попал под арест». «Едва чужак вошёл в город,  
как его отвели в приют». Так начинаются*

*произведения трёх значительнейших  
писателей, чьё творчество пронизывает основная идея – онтологически  
оправдать человека, осуществить Хомодицею. Сюжетно это сводится к  
следующей схеме: некий субъект попадает в цепь загадочных и  
непонятных ему событий. С этого turning point начинается игра, в ходе  
которой герой осознаёт метафизический принцип, лежащий в основе  
мироздания и ведущий к познанию собственного Я, «явленного из  
утаённого».*

*Рассказ «В местах ссылок» строится согласно подобной  
концепции и предполагает несколько уровней восприятия, благодаря  
обилию цитат, аллюзий и богатому культурному материалу. Но, несмотря  
на туманность интерпретаций произведения, ясно одно – автор затеял  
интересную игру с читателем, а какую именно, ещё предстоит  
определить.*

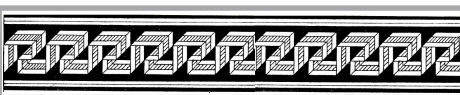
А. К.

**В МЕСТАХ ССЫЛОК**

*Петр вышел и следовал за ним, не зная,  
что делаемое ангелом действительно,  
а думая, что видит видение.*

*Деяния 12: 9*

Усталость всецело овладела М. и давила его сонливостью. Не в силах  
оторваться от завораживающей монотонности перестука колес он беспомощно  
или быть может даже обреченно, погружался в спокойные вязкие волны сна.  
Арьергард сновидений, утопил купе в абсурде, что инициировало, вначале





обрывающееся черными пустотами, а потом непрерывное движение вереницы, логически зарождающих друг друга, образов и мыслей. Среди которых несколько раз мелькал и попутчик.

Настойчивый стук в дверь разбудил М.. Протирая глаза, он неспешно поднялся с дивана и посмотрел в окно. Попутчика в купе не оказалось. Поезд стоял. После холодного и бледного, болезненно-бежевого солнца, которое преследовало весь день поезд, опускающиеся за окном сумерки, показались М. более прозрачными, чем те, что он привык видеть обычно.

- Штезе эктуэн эн номаз хэ? – солдат в каске стоял в дверях купе, держа в необычно тонких костлявых руках, на изготовке винтовку и, вопросительно смотрел на М.. Военный был высок и худ, форма была ему коротка и велика в объеме, а погоны безвольно свисали с плеч, и отмечали звание ефрейтора.

- Штезе эктуэн эн номаз хэ?! – повторила голова его напарника, которая неожиданно появилась в проеме между дверью и правым плечом первого. Голова имела выпученные водянистые глаза и мясистый красный нос, а над губой и глазами свисали засаленные усы и брови, которые, впрочем, мало, чем отличались друг от друга. Увенчивала эту голову такая же каска, как и у первого, и М. подумал, что солдаты напоминают шахматные фигуры, первый был либо тощим королем, либо слоном, второй же пропорционально, походил на ладью, а может и пухлую пешку.

М. решительно не мог понять, чего хотят эти люди, они же ждали его реакции.

Нарочито громко и отчетливо выговаривая каждую букву, совершенно бессмысленного для М. выражения, солдат, которому принадлежала пухлая голова, протиснул свое тело в купе:

- Ш-т-е-з-е э-к-т-у-э-н э-н н-о-м-а-з х-э!!!

Первый солдат, попытался бесцветной мимикой изобразить на невыразительном своем истощенном (изможденном) лице досаду, и искривил его в устрашающую скукоженную маску, а потом, решив что, не достиг желаемого, махнул в сторону М. рукой с винтовкой и сказал Второму:

- Штезе эктуэн эн номаз хэ!!!

Второй, взяв под руку М. и многозначительно, заглянув ему в глаза, призывно кивал в направлении тамбура, и настойчиво пытался сдвинуть его с места.

- Штезе эктуэн эн номаз хэ!!! – с яростью прошипел он, давая понять М., что культурное обращение кончилось.

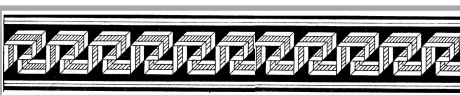
- Вы лучше, господин, не сопротивляйтесь – проговорил дрожащим голосом подросевший проводник. Он был взволнован. Всем своим тучным телом он прижимался к двери соседнего купе, давая им проход.

- Что происходит? Кто эти люди? Я не понимаю, что они от меня хотят.

- Не имею ни малейшего понятия, господин. Могу только лишь сказать, что причиной всему билет.

- Какой билет? Вот же мой билет... - М. хотел достать из кармана билет, но солдат заметив это движение, грубо толкнул его.

Проводник в ужасе всплеснул руками:





- Что вы, господин не сопротивляйтесь, это бессмысленно! Я сейчас подам ваш чемодан.

М. решил последовать совету проводника: не противоречить и действовать согласно обстоятельствам, что позволило тощему вывести его из поезда. Второй солдат и проводник остались стоять в тамбуре и смотреть на них свысока. Поезд тронулся, и вагон за вагоном стал неторопливо исчезать в сумерках, унося с собой тех двух.

-Штезе эктуэн эн номаз хэ – сказал солдат вслед последнему вагону, и повернулся к М., который потерянно, с тягостным чувством безвозвратности и смирения глядел на удалявшийся поезд.

М. взял чемодан и, оглянувшись.

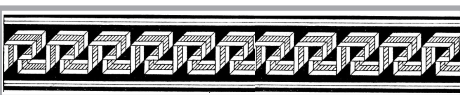
Сумерки сгустились, и подступившая к болотам тьма была бы совершенно непроглядной, если бы не голубые россыпи далеких блуждающих огней, нередко мерещившихся далеко в стороне от железной дороги. М. даже сомневался, видит ли он их действительно.

Караульная красно-белая полосатая будка с фонарем и шлагбаум, преграждающий дорогу вглубь топей, были здесь совершенно лишними, но давали ощущение надежды, будто свидетельствовали о близости цивилизации. К тому же действовала успокаивающе крошечная, но образцово ухоженная грядка, растившая на себе незнакомые растения. Шлагбаум был опущен, но представлял скорее условную преграду, чем реальную. За ним простирались бесконечные черные топи.

Солдат все время молчал, наверное, наконец-то сообразив, что они говорят на совершенно разных языках. Уже совсем стемнело, когда М. различил, что ефрейтор вытянул из кармана за цепочку часы и, взглянув на них, направился к будке. Однако, сделав несколько шагов, он резко остановился и метнул в сторону М. подозрительный взгляд, словно сомневался можно ли ему доверять или нет. Видимо все-таки решив, что можно, он развернулся и исчез в будке. Мгновение спустя на будке вспыхнул фонарь и, вокруг лампочки сейчас же слетелась стайка разнородных насекомых, а Густая Темнота уступила только круг – область округ будки, где простирал свой свет фонарь. Насекомые напомнили М. о Шметтерлинге, и М. совсем уж стало не по себе.

Солдат не обращал на М. совершенно никакого внимания, лишь однажды повернулся к нему, и с необъяснимой интонацией проговорил неизменное «Штезе энтуэн эн номаз хэ», а потом вынес из будки небольшой стульчик и предложил жестом сесть. После этого он словно забыл об М., и некоторое время занимался своим незатейливым хозяйством. Сначала он взялся поливать из ржавой дырявой лейки растения на грядке, что показалось М. совершенно бесполезным, так как земля и без того едва ли не чавкала под подошвами от влаги. Воду солдат набирал в колодце, который находился по ту сторону железной дороги. Деловито вышагивал вокруг будки, то исчезал внутри, то выходил из нее, неизменно пригибаясь, каждый раз, чтобы не задеть головой верхний край слишком низкого арочного проема. Однажды он вышел из будки с ведром и кисточкой и затеял, словно подчиняясь особому ритму подкрашивать белые полосы на будке.

В очередной раз сверившись с часами, ефрейтор отставил кисточку и





принес из будки еще один стульчик, который поставил рядом с М. Он сел, послабил воротник гимнастерки и достал из кармана вытянутую коробочку из плотного картона. М. настороженно, но не без интереса смотрел на солдата, который, кивнув, словно подтверждая несообразность своего поступка, снял верхнюю часть коробочки и извлек оттуда губную гармошку; точно такую же М. видел у Шметтерлинга(?). Нескладно солдат стал наигрывать грустную мелодию, разжидив навязчивую тишину звуком инструмента. Время от времени он поглядывал на М.

М. эта мелодия околдовала и запомнилась, такой, как он транскрибировал ее из памяти в ноты.

Послышался странный звук – тихое назойливое жужжание, исходящее со стороны топей. Звук то приближался, то снова пропадал удаляясь.

Утро наступило незаметно, и облекло все в молочный туман. М. ужасно хотелось есть. Отправляясь в поездку, он полагался на услуги вагона-ресторана, и совершенно не позаботился о еде, что теперь обернулось чувством глубокого сожаления. К тому же было ужасно знобко, так как туман прилипал к М., но с его одежды стекал уже росой. Солдата нигде не было видно. Возможно, что он продолжал находиться во власти Морфея, еще с вечера свернувшись в невероятной позе, в тесной будке, а может быть, уехал.... Тут М. заметил, что с того момента как отошел злополучный поезд, тишину ни разу не обрывал, ни стук вагонных колес, ни свисток локомотива.

М. поднялся со стульчика, и отправился к шлагбауму, с целью оправиться. Но едва он смог удобно устроиться, как из тумана со стороны дороги уводящей в болота послышался свист и хлопанье ног. М., помянув чёрта, живо натянул штаны и поднялся, надеясь разглядеть в промозглом мареве свистуна. Вскоре появился и сам исполнитель. Насвистывал он григоровское «Утро» и уверенно шагал, неся через плечо котомку. На мгновение М. представил фигуру в образе гимназиста, однако когда человек приблизился, оказалось, что не вид ему не менее семидесяти лет, но для своих семидесяти он был чрезвычайно бодр. Он был опрятен, одет в костюм и обут в желто-коричневые, на удивление не заляпанные грязью туфли. Ухоженная окладистая борода была совершенно седая и даже вблизи сливалась с туманом, а издалека вообще была невидима. Старик остановился, перестал свистеть и сквозь круглые очки в тонкой железной оправе растерянно смотрел на М..

- Доброе утро - сказал М. и слегка поклонился.

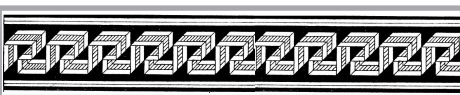
- Доброе утро – вежливо ответил старик – Прошу прощения, а где ефрейтор?

- Не имею не малейшего представления – ответил М.

- Вы случайно не тот пассажир, которого ссадили вчера вечером с поезда?

- Прошу вас разъясните мне, что происходит, и за что меня арестовали или как это назвать и теперь держат на этом богом забытом полустанке?

- Вас никто не держит, и никто вас не арестовывал. Собирайтесь, я пришел за вами. Извините, я не представился, Андреев Платон Афанасьевич – произнес старик и протянул руку, предлагая М. ее пожать, и добавил – Ваш







соотечественник, как я заметил.

М. недолго помедлил, и тем не менее подал в ответ свою руку.

- Меня зовут М. Очень приятно увидеть здесь здравомыслящего человека.

- Они бы вас расстреляли, М., но в письменном распоряжении казнь необдуманно определена выражением «к стенке...», вот они в который раз и недоумевают, где же по распоряжению лишать жизни приговоренные отражения, возле какой «стенки». Боясь нарушений, они переносят казни на неопределенный срок, и дожидаются, когда придут более подробные указания. Как военные не разыскивали «стену», это сооружение со временем уже ставшее мифическим так и не нашлось, поэтому приговоренные отражения умирают, по преимуществу, своей смертью в глубокой старости, или от неких болезней, так и не дождавшись исполнения приговора.

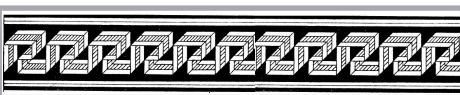
Многие из этих отражений находят здесь новую жизнь, совершенно не замаранную ни кляксами ненавистных себе поступков, ни ошибками прошлого. Девственно-белый лист, где можно переписать конечный фрагмент существования. Прошу вас заметить, что вы ведь сейчас тоже есть лишь собственное отражение, зазеркальный призрак, обратная копия, того М.. И кто знает, чем на самом деле является оригинал, родивший вас как отражение.

- Что вы хотите этим сказать, Платон Афанасьевич?

- В прошлом веке – начал Платон Афанасьевич - Август Мёбиус пополнил геометрию, свершив открытие односторонней поверхности, которая впоследствии получила название всем известной ленты Мёбиуса. В этом ему помогла служанка, которая неправильно сшила ленту. Жена ученого была очень разгневана и настаивала на расчете глупой Марты, ведь служанка шила именно по ее приказанию, однако Мёбиус усмотрел в этой ошибке плоскость, которая имела лишь одну кольцевую сторону.

Лента Мёбиуса является моделью сущего, которая очень точно отображает суть пространств и времен. В одном из своих сочинений Грегуар Папюс выделяет один из методов исследования, который называет «аналогией». С помощью аналогии очень легко представить пространство, которое, изгибаясь в вывернутое кольцо, соединяется в точках ABB1A1, то есть, образуя как раз ленту Мёбиуса. Так называемую пространственно-временную плоскость с площадью умноженной на два. Вы знаете, что такое пифагорейский тетраксис, господин М.? Это изображение в сечении так называемой модели Мёбиуса. Мир есть квадратная закольцованная призма, состыкованная основаниями. И движется все по кругу, и упирается все в начало. И кто знает отражение ли оригинал, или оригинал отражение.... Да... - Платон Афанасьевич остановился и посмотрел на М.

- Кстати, господин М., у вас случайно не найдется лишнего пузырька чернил? Из-за такой ерунды я не имею возможности дописать свой труд... Можно представить насколько безумно огромно и неизведанно пространство, во взаимодействии с которым мы существуем и с которым знакомы лишь на половину. Изнанка, обратная сторона мира, это для нас «terra incognita». Что бы проникнуть туда и заполнить белое пятно на карте нашего осмысления себя и мироздания нам требуется найти место, обозначенное точками ABB1A1. Я





намереваюсь обнаружить эти точки в своем сочинении. Все это очень запутанно....

- Для кого вы пишете свое произведение, Платон Афанасьевич?  
- Для вечных обитателей топей, для обреченных в веках оставаться собственным отражением - для вас.

- Для неискушенного пассажира этот свет вполне бы мог сойти за долгожданный свет окон недалекого крова и привести к неминуемой гибели - сказал Платон Афанасьевич:

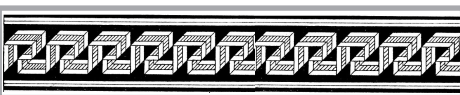
- Теперь ты знаешь их обманную природу и, не обращая на свечение никакого внимания. Давай продолжим путь.

Бледное, неживое сверкание, огней делало топи не светлее, но напротив подчеркивало непроницаемость окружавшего мрака. Но старику хватало и этого света, чтобы не потерять. Иногда они увязывались за путниками, преследовали их некоторое время, и светились, бродя на недостижимом расстоянии, иногда терялись, и тогда М. утрачивал всякую ориентацию в пространстве, но Андреев брал его за руку и уверенно вел дальше. От воспоминания о теплом свете окна, камине и кресле с пледом, М. стало холоднее, а сырой зловонный воздух показался еще тяжелее и насыщенней.

Но холод и промозглость были ничто в сравнении с одолевавшим М. нестерпимым чувством такого нового, такого незнакомого страха, действовавшего разве что на физиологическом уровне? Еще вчера этого не было, хотя обстоятельства были предрасположены более чем сегодня. М. пытался, было бороться с этим приторным ощущением, но понял что все бессмысленно. Поиски причины были похожи на попытки, осознать бесконечность. И чем глубже вдумывался М., стараясь разобраться, тем сильнее тревога овладевала им, страх обернулся основанием для существования М. фундаментом его сознания. Ему пришла в голову идиотская мысль, что в этом месте страх был полноправным властителем – таким же властителем, каким в цирке является радость и смех.

Узкая хлюпающая тропа требовала постоянного внимания, шаг в сторону и М. бесследно поглотят черные вязкие глубины. Поэтому М. был напряжен и крайне внимателен, каждый шаг он делал с большой осторожностью, стараясь ступать точно по следам Андреева. Постоянно оглядывался, вздрагивал при всяком шорохе, останавливался и прислушивался, но снова убеждался, что вокруг стояла мертвая тишина, а Платон Афанасьевич, ощупывая своей тростью, место для следующего шага, продолжал сосредоточенно медленно передвигаться.

Кубы громадных монолитов, испещренные таинственными знаками, были вместилищем древних духов и коренного знания, они производили неприятное подавляющее действие. Они росли из бездны диких болот и провозглашали, своей чудовищной массой, ничтожность путника, приводя М. в ужас. Несколько раз, М. ощущал чье-то кратковременное присутствие в этих исполинах, а точнее в многочисленных символах, которые были геометрически правильно начертаны на поверхности камня, и будто старались заговорить с ним. Это замечал и старик, он поворачивался к камням и прислушивался.





В стороне от тропы часто встречались любопытные глаза непонятных существ, мелькавшие среди сгнивших, трухлявых коряг, фантастических мхов и подступающих рваных клубов белесого тумана. М. так и не смог рассмотреть ни одну из тварей, как не пытался.

- Не старайтесь, господин М. Эти твари бестелесны, и выдают себя лишь глазами и звуками – заметив интерес М., сказал Андреев - «Если этот мир создал некий творец, то я не хотел бы им быть. Ибо боль этого мира разорвала бы мне сердце»: изрек однажды мой знакомый.

- В последнее время меня преследует любопытное ощущение, словно я не могу распознать сон среди действительности, и потому в заблуждении, порой полагаю, что на... – М. осекся, осознав, что не может объяснить свое чувство Андрееву...

- Не усердствуйте, господин М. Боюсь, что я вас все равно не пойму...

Старик прервал М., озадаченно смотря в сторону. М отметил мгновенную трансформацию выражений на лице Андреева. Серьезность лика, приобрела угрюмый оттенок. Платон Афанасьевич смотрел на приближающиеся дроги. Скрипящие, запряженные парой смертельно исхудавших понурых лошадей с мутными глазами, ими правила неясная фигура. Пошатываясь, лошади катили телегу, производя невыразимо жуткое впечатление. Когда телега поравнялась с М., он услышал уже знакомое жужжание, от которого по спине прокатилась волна холода.

- Доброго пути, возница, Иезекиль! – крикнул согнувшейся над вожжами фигуре Андреев – Идемте быстрее, господин М. – не оборачиваясь, сказал он М. и прибавил шаг, устремив перед собой трость.

Платон Афанасьевич обернулся и осознал, что уже долгое время не слышал ни слова произнесенного М.. М. не было. До горизонта болота были первозданно пустыми. Андреев судорожно схватил ртом воздух и, сорвавшись, словно не было бремени лет, побежал обратно. Он кричал, надрывая голос, надеясь услышать далекий голос в ответ, но ответом была привычная тишина. Вдруг что-то его остановило и вынудило оглянуться. В пяти шагах, слева от тропы,

над  
поверхностью черной  
маслянистой влаги  
поднимались, лениво  
вздымавшиеся,  
тягучие пузыри...





ЯЗЫК.RU

**Беседа****Сергея Соловьева с Андреем Битовым**

*(Перепечатывается из № 9 журнала "Дикое Поле" (Донецк) за 2006 г.  
с любезного позволения редакции.)*

**Сергей Соловьев:** Каков язык человека - такова его и судьба. Это же относится и к народу. К русскому - в особенности.

В начале нашей азбуки — аз, затем буки. То есть: я - буквы. И лиши затем, и потому - ведать слово. И не то слово, до которого еще плыть и плыть - до середины реки азбуки, а глагол, то есть речь, течь, говорение, то есть слово живое, изустное, отворяющее уста.

У индусов в «Алмазной сутре» — формула человека: «я, человек, существо, небожитель». У нас: «Я - буквы - ведаю - говорю».

Я - часть азбуки мира. Не буква его, а буквы. Какая часть, сколько? Нет ответа. Вопрос есть, чувство есть - части целого, потому говорю.

В начале не Бог был, говорит Книга, а боги. Един — во множественном числе.

И у нас во множественном, но - человек, часть речи. Часть, говорит современная физика, больше целого. Счастье, говорит язык, - быть с частью. Истина, говорит язык, это естина, то есть всё, что есть. А что есть? Я, буквы Я-зык, голос букв то есть. Отсюда отзывчивость, о которой Достоевский писал, - от части целого, от чувства языка.

Но, может, язык нас водит за нос? Мы вправе говорить то, что мы хотим сказать. Но и языку отказывать в этом праве - значит быть Иваном, не помнящим родства.

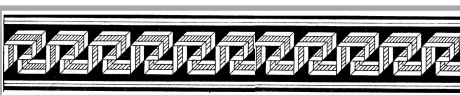
Язык, и русский в особенности, это чувство мира. Седьмое. Имению чувство - по синтаксису, по иррациональной, в отличие от западных языком, стихии, по кочевой, не оседлой, природе речи.

Речь, — речет язык, - см. река. Та же природа синтаксиса; ни истока не видно, ни устья, да и не скажешь - куда течет; петли, старицы, рукава; а русло (русь-слово) - где? Нет его. Течь, речь, река. Те же отблески на воде, те же инверсии встречных потоков.

И не только в синтаксисе, но и в семантике, исторической: из варяг в греки течет, а язык - встречным течением - из греков в варяги.

А где течет она? В человеке. То есть человек и есть ее берега. Чтоб берег ее, оберг. Какова речь, таковы берега.

Добро есть жизнь. Так говорит русская азбука мира. И добро исходит из речи. Эстетика первичной этики. «Поэзия выше нравственности, - пишет





Пушкин на полях рукописи Вяземского. И добавляет в раздумье: - По крайней мере, совсем иное дело».

Жизнь — это живот: вот космогония русского мироздания. И в ней, в этой расширяющейся вселенной, воплощается бог - единый из двойственного, и вынашивается - под сердцем. Жизнь, живот.

А кто дал эту азбуку? Щекотливый вопрос. Два болгарина, миссионеры. Откуда шли? От Папы Римского. С какой целью? Обращать славян в веру христианскую. А поскольку чем дальше на восток, тем больше языковых княжеств, нужен был единый язык, Христа ради.

То есть азбука эта была - наряду с ее светлым даром - еще и своего рода троянским конем с римским воинством.

А на чем крест стоит? На Голгофе, на черепахе Адама. А если приподнять русскую азбуку - что под ней? Пол-Климента. Климента, ученика апостола Петра, который дошел до Корсуни, и «за успешную проповедь христианства», как говорит летопись, был привязан живьем к цепи и спущен на дно морское.

Так вот Кирилл, дав славянам кириллицу, идет в Корсунь (Херсонес), находит и поднимает со дна оплетенный водорослями скелет Климента, и делит этот скелет на две половины. Одну из них он отправляет в Рим Папе - в обмен на эксклюзивное право продолжать проповедь христианства в славянских землях, другая половина уходит в Киев и затем канонизируется кн. Владимиром.

Под русской азбукой лежит иудей, расчлененный меж Западом и Востоком, и длина его тела - от Киева до Рима.

Мандельштам говорит об эллинской природе русской речи. О том, что Русь восприимчива греческой и буквы и духа - поверх сухой ветви Византии.

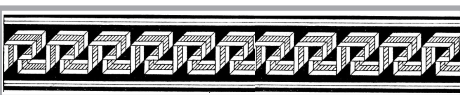
Соснора говорит, что мы в один день заимствуем у Византии и религию, и алфавит. Религию упадка Восточной империи (изоляция, сектантство, нетерпимость) и алфавит, с которым погружаемся в безмолвие еще на семьсот лет.

А что говорит язык?

В начале азбуки стоит русский Адам, буквенный, почти голем. В начале литературы русской стоит Слово. О полку. Одно стоит, голое, посреди безмолвия во все края.

И нет в этом Слове ни слова "Бог", ни сцен эроса. Плач, вой, бой, гимн. Изохрененная метрика. Русский язык в красках крови, как пишет о нем Соснора. Мировой эпос на четырех страницах.

Я видел этот язык. Реставрируя фрески Софийского собора в Киеве. Вводя в стену ветеринарными шприцами ведра дихлорэтана, укрепляя живопись, прокалывая тела севастиийских мучеников. Он проступал на стене, этот язык мирян 11-12-го века, - граффити, рядом с которыми язык персонажей Данте бледнел.







Я читал эти ножевые царапины речи, затуманенные парами дихлорэтана, и летучая мышь, ошалев от этих паров, выползала из щели меж плинфами, из живота мученика, волоча за собой пыльный пиджачок крыльев, и дышала в лицо, хекая, как собака. «О-хо-хо, душа моя... чем се сотвори же... ничтоже...» - проступало под ней.

Запад считает, загибая пальцы от большого к мизинцу. Мы - от мизинца. Меньший, слабый, последний - он первый и главный. Об этом и сказка. И сказка, и быт.

В начале русской литературы - Слово. И автор его безымянен. Да и Слово блуждает во времени, как огонь в тумане. То ли бог, то ли подлог.

Сказанное Мандельштамом о языке - читают и еще прочтут. Я приведу Соснору, непрочитанного:

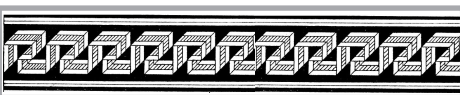
«В России всегда ненавидели поэтику, а точнее - артистизм. Кн. Ольга (9 в.) зарыла живьем в землю, в канаву - волхвов. Иоанн Грозный запер у себя на дворе лучших скоморохов страны и натравил на них 300 диких медведей - съели, с косточкой. Петр Первый писал по-голландски, а русские книги и иконы со всей Империи везли возами в Санкт-Петербург и на хворосте - жгли. Мы гордимся этой самобытностью, - не стоит. Во всех странах при каждой «новой идеологии времени» - жгли, жгут и будут, это норма. Но есть и отличия: в книгохранилищах СССР до сих пор лежат 2 миллиона рукописей и книг, никогда никем не читанных и не разобранных. Их никогда и не прочитают, если у нас сейчас 3 специалиста по древнерусскому языку, академики Д. Л., В. Д. и А. П. — три персонажа на 300 млн. чел. населения. И еще: мы твердо убеждены, что за 1 тыс. лет Рос. империи были варяги, потом Грозный и Первый, предтечи. А потом сразу же - Декрет 1917 г., от него и датируется настоящее время. История - сверхсекретная тема в русской истории. Тут, мне кажется, мы неоспоримые лидеры цивилизаций. И если Автор «Слова» сверкнул, то и то анонимно. А в 2-х миллионах музейных папок сколько может быть авторов?»

Это сказано в конце прошлого века, когда еще стояла та — троя. Теперь уже и Лотмана нет, и Аверинцева, и Гаспарова.

У нас нет истории, говорит Чаадаев. Есть, говорит Мандельштам, - это наш язык.

А кто совершил переворот 1917 года - большевики что ли? Язык. Его избыточность, его лошади, которые понесли. Его протуберанцы - как солнечные бури в год активного солнца - его взвинченные вихри, подхватившие литературу, страну, искали выход этой языковой космогонии, этой критической массе языка. Чей дом, кроме утопии, мог дать кров этой стихии? Куда, кроме неба, могла она хлынуть?

Россия Золотого века - ее язык и литература. И стометровка этого пека была пройдена ею на световой скорости. Из безвестной стороны она всего за век становится в первый ряд мировых культур. Другие к этому шли тысячелетиями. Не случаен потому этот тектонический сдвиг - языка, а значит, истории.







Язык определяет характер мышления, характер мышления - характер поступков, характер поступков складывается в судьбу. И человека, и нации.

Вроде бы прописи. Но именно эти прописи и изъяты из человека. Кем изъяты? Медийным кесарем. Который и правит миром - и языка, и душ, - исходя именно из этих прописей.

«А кесарь мой — святой косарь», - говорит поэт.

Поэт — парус языка. Парус, который не чувствует под собой, не «держит» язык, а ложится под ветер, - лишь полотно, тряпье. И язык его либо рвет, либо полощет. Но и язык без паруса — воля волн.



\* \* \*

*Я шел к Андрею Битову — брать интервью о языке.ru, и думал: вот и уходят они, последние, — оглохший Соснора, слепнущая Ахмадулина, утративший голос Вознесенский, Битов - едва ли не единственная сегодня мыслящая речь русской литературы - в приступах эпилепсии...*

*Что в этих знаках, думаешь поневоле, и добавляешь к этому ряду покинувшего литературу, постригшегося в жизнь Сашу Соколова. А за ними что ? Безъязычье. Худло - как зовут на жаргоне нынешнюю литературу.*

*Битов в халате, непролазная кухня догорающего человека. Окурки, посуда, книги, вперемеж. В окне, на той стороне улицы, вывеска: «Брюки».*

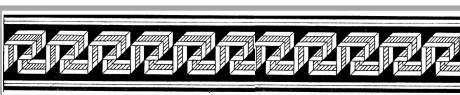
*Он движется мыслью вслух, тактильно ощущая каждое слово - здесь, сейчас. В отличие от тех, кто садится в мысль, как в автобус с уже известным маршрутом, и выходят на своей остановке, как достижения результата. Тем этот неспешный натуралист мысли и интересен: открытым небом, вегетативной природой речи.*

*Самое несуществующее слово, говорит он, заваривая кофе, - слово. Как оно может себя назвать?*

*Вот запись этого разговора. Я снял свои реплики, оставив лишь несколько фраз там, где это необходимо для связи смысла.*

**Сергей Соловьев:** До Мандельштама взгляд русской литературы не замечал или почти не замечал язык, на котором пишет, дышит, спит и видит. У Пушкина, например, который возводил язык, как державу Петр, нет или почти нет речи о нем.

**Андрей Битов:** У Пушкина есть, по типу ломоносовского, высказывание. О гибкости и всеядности нашего языка. Он и сам обучил русскую речь французскому строю во многом - именно не словарю, а строю. Я недавно увидел, как он, наверное безо всякой государственной программы, избегал





иностранных слов. У него нет, например, слова «пейзаж» - только «природа». Нет слова «ландшафт» - «вид».

Или брать древнюю русскую литературу, о которой Пушкин позже узнал, - там язык тоже был, просто мы до сих пор невнимательны к той эпохе. Я думаю, что сейчас у нас как раз время почитать восемнадцатый век. Что некоторые замечательные люди и делали, в частности Заболоцкий. Надо быть немного раньше.

Мандельштам был, конечно, очень просвещенной фигурой - не в смысле образованщины, а в смысле света. И думаю, что это связано с тем, что семнадцатый год поставил под угрозу существование русской речи, потому такая напряженность. Это единственное, что у нас выжило, и единственное, что справилось с режимом, - русский язык. Поэтому его внимание и оказалось обращенным прежде всего на ту систему, которая всё испугит, всё выручит - и выживет.

А по сути дела, мне кажется, что русский язык имперский по своему характеру - не в смысле агрессии, а в смысле способности переварить бездну влияний и сделать всё своим.

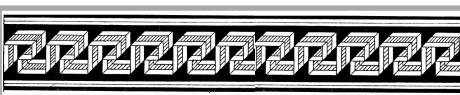
В свое время прозвенел, и, наверное, справедливо, Олжас Сулейменов, который рассказал, сколько татарщины в нас, и обучение другим языкам у русского языка постоянно происходит - при такой вот странной ксенофобии, одновременно, к знанию иностранных языков, которая тоже поразила при советском режиме нашу жизнь. Знать иностранные языки - это значит хорошо чувствовать свой.

Однажды судьба свела меня с замечательным польским поэтом, и оказалось, что он мой читатель, что было мне лестно, я говорю, на каком же языке Вы читали, он говорит, ну я же поляк, наверно по-польски, но по-польски меня не было, на каком-то другом, но не по-русски... Говорили мы по-английски, это было легче ему, чем по-русски. Он спросил, над чем я сейчас работаю, и я ответил, что пытаюсь воскресить культуру русского эссе. Он говорит: это трудная задача, для того чтобы написать эссе, нужно знать, по крайней мере, три-четыре языка. Вот нормальный подход восточного европейца.

Те народы, которые не могут претендовать на то, чтобы все знали их язык, должны знать другие языки. Скандинавы знают несколько языков, навязывать финский или норвежский они не в силах. И русский язык навязывать никому не надо.

У нас, на постимперских обломках, происходит освобождение русского языка, а именно в отпавших окраинах - потому что свой язык они все едва вспоминают, английский знают плохо, но даже прибалты, которые так антагонистичны к России, между собой говорят по-русски.

**С.С.:** Вы упомянули о некоторой ксенофобии к иностранным языкам, и, вероятно, замечали, путешествуя по разным странам, что русские переселенцы





очень вяло интегрируются в другие культуры - нет ли здесь подсознательной языковой причины?

**А.Б.:** Это неприличие и отученность. Все-таки это должно в поколениях передаваться. У кого-то из наших либеральных писателей, которые так увлечены фигурой Сталина, я прочитал такую вещь: Сталин очень не любил иностранные языки, грузинского ему хватало, чтобы объясниться с Берией и при этом их никто не понял, а русский язык он любил, и недаром в конце жизни связался с языкознанием. Кстати, ему принадлежит мысль, что русский язык мало изменился со времен Пушкина - с этого начинается, кажется, «Марксизм и вопросы языкознания».



Высказывания о русском языке... Ну сколько можно говорить «масло масляное», одну фразу, которая вошла уже в какие-то сборники афоризмов: «Ничего более русского, чем язык, у нас нет». Все разговоры о русском небе, русских бурях и русской почве - абсурдны.

**С.С.:** Мандельштам сказал, что история России это история языка. И, в отличие от западного мироустройства, где язык является лишь одной из составляющих территории, государства, у нас язык значительно больше всего того, что входит в понятие народа, или нации, или государства, - он как бы омывает нас...

**А.Б.:** Нашу страну географически трудно и страной-то назвать. Уже были все эти пафосные метафоры - «одна шестая» и т.д. В общем, это материк, это океан, и он покрыт именно русской речью.

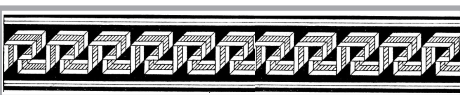
Да, к вопросу о языке. Даль был запрещен! Словарь Даля не существовал...

Когда будут изучать - если останется что-то от русской литературы второй половины двадцатого века (в этом году пятьдесят лет, как я занимаюсь литературой), если что-то останется, то придется (а уже будет поздно, только сейчас еще можно что-то поймать) изучать, в какой последовательности - или в какой непоследовательности - поступала информация о литературе и языке к моему поколению.

Евангелие я читал в двадцать семь лет впервые - а ведь я его уже каким-то образом знал, опосредованно, через чтение классиков, тех, которые не были запрещены.

Единственное, что меня устраивает и удивляет в том режиме, это что они не запретили Пушкина и Толстого. Достоевского пробовали запретить. Блок спасся на «Двенадцати»... Все эти тексты можно было прочесть, и в них содержалась информация языка, конечно. А язык говорил совершенно о другом. Они не повести и рассказы писали, они занимались чем-то другим.

А нашему поколению пришлось как бы восстанавливать саму специфику жанра, что ли, - как писать рассказ, как писать повесть. А сколько нужно было





решимости, чтобы написать роман, - когда я пошел на «Пушкинский дом»...

Это было очень занятно. Он пошел уже в самиздате, там было четыреста с чем-то страниц машинописных. Ну, Аксенов его читал в самиздате и что-то мне говорил по этому поводу... Однажды встречается меня в дверях ЦДЛ, говорит: «В твоём романе сколько страниц?» - «Ну, - говорю, - около пятисот». - «А у меня шестьсот!» Важно было заявить саму способность что-то сказать - и в этой форме.

И вот если Евангелие я в двадцать семь лет прочитал, то мне уже было за тридцать, когда - вдруг - было одно случайное издание Пословиц русского народа - это была моя библия и настольная книга. Где ни откроешь - там дышишь. «Летят три пичужки через три пустые избушки...» Ну кому я это объясню?

Ксенофобия... Ну, во-первых, от бескультурия, от русской нецивилизованности и непросвещённости. Страна, в которой ты живёшь, оказалось, была защищена не танками, а языком. Танки защищали режим, а не империю, вот она и пала.

**С.С.:** А как же быть с отзывчивостью языка, о которой говорил Достоевский?..

**А.Б.:** Это надо в контексте воспринимать. Отзывчивость, конечно, есть - именно языковая. Когда он переварит какое-то понятие... Вот цитаты, например. Я не особенно книжный человек, но все те цитаты, которые я употребляю, я, конечно, беру в кавычки, но воспринимаю как часть своего текста, и они у меня просто выплывают в процессе письма, и не надо никуда лазить - что застряло, то застряло. И неизбежно она становится частью текста, только закавыченной.

А язык? Вот язык - весь - как цитату кто-нибудь рассматривает, - из ученых?

Но по сути дела, любое слово является какой-то огромной цитатой. Если начать рассматривать и как вещь в себе, и лингвистически, и его происхождение... Это огромное знание, и оно сохранено благодаря тому, что существовала литература. Она была искажена тиражами, последовательностью текстов, неправильными предисловиями - но предисловий к текстам можно ведь и не читать.

**С.С.:** Тот же Мандельштам сказал, что отлучение двух поколений от языка равносильно выпадению из истории...

**А.Б.:** А у нас три поколения ушло. Три поколения должны пройти другой путь. Одно уже пережевано, осталось еще два на надежду.

Между прочим, все те, кто бьют в барабаны паники - то ли спасать





русский язык, то ли реформировать, то ли бороться с масс-медиа, поп-искусством, порнографией и т.д. - это всё те же самые люди, которые губили русский язык. Им только бы сесть на стул и чем-то заведовать. В частности, управлять языком. А управлять языком - это категория огромной власти.

Помню, в период оттепели писатели, которые сумели пережить войну и ГУЛАГ и как-то тихо не сесть, очень гордились, что на них обращают столько внимания. Это тоже какая-то скрытая внутренняя цитата: значит, мы есть, если с нами считается власть, которая на нас давит. Язык - категория власти. Писатель - это тот, кто владеет языком. И слово не обманывает владеет. Ну, и властвует.



А Сталин пытался проявить власть над языком. Я где-то подхватил, как легкую венерическую болезнь, эту расхожую цитату: всякий тиран существует до тех пор, пока не вмешается в русский язык и в еврейский вопрос. Вот вам и Мандельштам. Есть даже конференции, которые разбирают его то как русофила, то как иудаиста - там все краски есть...

**С.С.:** Вот в связи с этим, поскольку мы то и дело вспоминаем Мандельштама, - он говорил об эллинистической природе русского слова, о том, что русский язык - восприимчив (через голову Запада и полусухой ветви Византии) Эллады, ее лада, уклада...

**А.Б.:** Ну, тут я ничего Вам не скажу, потому что я человек глубоко неграмотный. Те, кто могли Вам ответить, взяли и померли - ни Аверинцева вам, ни Гаспарова.

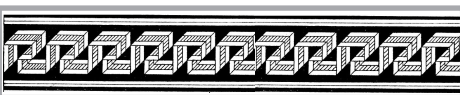
**С.С.:** Дальше он поясняет, говоря об утвари, о живом тепле, о том, что вещь - не хозяин слова, что слово стоит над вещью, как неотлетьевшая душа над умершим телом...

**А.Б.:** Я, как человек необразованный и не полиглот, образовал свое языкознание в области интеллектуального примитива - такой у меня есть жанр, вроде наивной живописи.

Я считаю, что английский язык - это глагол. Немецкий язык - это существительное. А русский язык - это прилагательное.

И тогда, безусловно, великим ученым является этот недоросль, который сказал, что если дверь приложена, она прилагательное. У нас «Капитанская дочка», «Медный всадник», «Бедные люди» — иначе ничего не существует. И поэтому, кстати, русский - само слово - является прилагательным к слову «человек». И это очень правильно. Вот вам и ксенофобия - все остальные, как во всех языках положено, образованы от стран и существительные. А русский - это повисшее прилагательное. Это следует как-то запомнить. Тем более, что разговор о русском менталитете все еще не закончен.

Мы говорим о пространстве и о языке, а все остальное - очень приблизительно. Я думаю, что не приблизительно только - к вопросу о всеотзывчивости, это и порок, и, одновременно, единственная перспектива -





это как бы раскрытость контура человека.

Если каждый человек рождается в нулевом пространстве кричащим комочком плоти, и он всему учится - совершенно всему (что-то ему достается генетически, но это надо еще проявить и осознать), а так он учится совершенно всему, и может быть, этот тип наиболее сосредоточен в русском человеке.

Он может не застывать в форму цивилизованного человека слишком долго, практически всю жизнь - и если такой человек остается живым, то он довольно далеко проходит, потому что всегда идет - дальше и дальше.

Вот я говорю, что русская литература занималась не писанием рассказов и повестей. Она занималась самопознанием. И это самопознание длилось на протяжении всего жизненного пути, и никуда от этого не деться. Этот организм развивается и развивается. Как только русский человек останавливается - это чудовище. Можно посмотреть на всех стремящихся к власти и занимающих положение. Это тупик.

Тупик — это вообще очень интересная вещь...

**С.С.:** Бесконечный тупик...

**А.Б.:** Да, бесконечный тупик. Не знаю, об этом ли Галковский в каком-то смысле писал... Однажды я по телевизору увидел библишную замечательную программу, там рыба какая-то плыла, скат, и вдруг меня потрясло, как она красива, как она напоминает одновременно космический корабль, подводную лодку и всё на свете, - и я подумал, что она конечна.

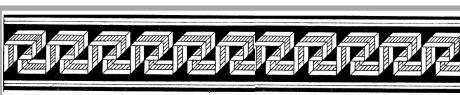
Каждый вид в природе конечен, и муха, и муравей, они совершенны - они тупиковы. Кроме человека. Человек - это такая расщепленная почка, которая в связи с чем-то оставлена на какое-то развитие - деградацию, или мутацию, или, наоборот, доведение себя до подобия Божиего.

Русский человек как раз и есть в этом плане выраженная такая почка. Вот и у русского языка, по-моему, такая же судьба. Он все время как бы стекает с языка... Русский язык, по-моему, невозможно знать, с ним живешь - а не знаешь его.

**С.С.:** Русский и английский, а между ними стоит девочка, Лолита. Набоков в послесловии к переводу написал...

**А.Б.:** Да, в послесловии к русскому переводу - он не смог доверить свою девочку никому, и сам постарался перевести на русский, и в послесловии он говорит - довольно резко, - что мысль на русский перевести нельзя...

Своих переводов я не читал, но втыкался в те места, которые меня интересовали, чтоб проверить, и обнаружил, что те места, которые я считал остроумными и блестящими, выглядят гораздо скромнее, проще и понятнее - т.е. язык привык думать, потому что в нем глагол из действия перешел в мысль, по-видимому; стал работать на осмысление реальности.







Однажды мне понравилось одно место у Локка, и я пробовал этот абзац перевести на русский - написал две страницы, и все равно была невнятица полная. Упрека нет: мы иначе говорим, у нас, по-моему, совпадение художественного образа и мышления очень развиты - это тоже свойство нашего языка.

Где-то я говорил, что он поет, а не... что-нибудь другое. Именно поет, поэтому и мысль наша - певуча. Может быть... если у нее, мысли, нет мелодии, то она и не звучит.

Я очень люблю цитировать из Блока, из его прозы - у него замечательная проза, - «Что бы ни сделал в России человек, его прежде всего жалко. Жалко, когда человек с аппетитом ест...» Что - больше - можно добавить? Это спето. Но это не стихи, это мысль. И мысль очень сокровенная, своя, и, может быть, при переводе она не будет ничего значить.

Кто-то из наших, преподававших русскую литературу, на гастарбайтерских началах, в Америке, рассказывал мне - как это у Бунина рассказ? «Легкая грусть»?



**С.С.:** «Легкое дыхание»?

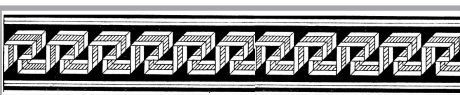
**А.Б.:** Нет, именно «Легкая грусть» или «Легкая печаль», что-то такое И американцы недоумевают, как это грусть, или печаль, может быть светлой, легкой, еще какой-то. Не поет. У них очень давно фольклор отделился в область национальных костюмов. А у нас... и костюмы забыли, и песни забыли, и петь разучились, - однако сам язык не отделился от этих начал.

Те, кто бывал в фольклорных экспедициях, скажем, на Севере, буквально сходили там с ума - от русской речи. Как эти бабки поют, когда разговаривают. Какое это точное слово...

Не надо вот только пробовать что-то улучшить. Самый добросовестный работник за весь советский режим - это язык, переплавивший всё: и канцелярщину, и советские штампы, и феню, и мат, и зону; всё ушло в язык, что-то выплюнулось, что-то осталось...

Как, допустим, живет анекдот? Это была наша единственная гласность в постсталинскую эпоху и при Брежневе, при его своеобразной доброте, особенно развившейся в застой. Анекдот сейчас вспомнить трудно, а осколок от него остался, он живет - так же, как жили осколки от Грибоедова или - живут теперь - от Венедикта Ерофеева. Это осколки точных реплик, цитаты, которые никому не принадлежат, которые стали частью речи. (Да, кстати, Иосиф очень здорово назвал свою книгу — «Часть речи».) Кстати, грамматика очень о многом говорит - она же имеет русскую терминологию, во многом. Говорят же, что слово «ерунда» произошло от слова «герундий»... А «Часть речи» - как это красиво!

Вот, например, у Льва Толстого: «Накурившись, между солдатами завязался разговор...» И меня иной раз тянет так сказать. Но это еще не





произошло с языком. А действительно, ведь если начинаешь строить полный период: «Когда солдаты накурились, между ними завязался разговор», - что-то тут лишнее уже возникло, и может быть, со временем это превратится в какие-то другие формы, более естественные. Сейчас они могут казаться иной раз вульгарными, иной раз - просторечными, но всё равно эта работа идет.

Так же, как происходит работа с ударениями. Двойное ударение - одно разговорное, другое... Вот сколько люди будут мучаться с «чашкой кофе»? Или с «звонИт» или «звОнит». В результате получится, что сначала в словарь пойдет двойное употребление, однажды останется одно или будут узаконены оба. То есть какой-то процесс идет - медленно и правильно.

Или, как, наоборот, сказал тот же Венедикт Ерофеев - вот замечательная часть речи наша! - что у русского человека всё должно происходить медленно и неправильно, чтобы не зазнавался человек. Медленно и неправильно.

**С.С.:** Ну, и одновременно искать дырку в заборе, говоря о языке, который все норовит сойти с асфальта и спрямить путь - по траве.

**А.Б.:** Чем больше строят забор, тем более он дырявый. Это еще, помню, нянька у моей старшей дочки, когда чай пили, всё время говорила: «Пей, пей, вода дырочку найдет». Вот, значит, и язык найдет - он тоже текущая вещь.

Меня так восхитила, в свое время, информация, что у воды есть память... А ведь она была раньше, чем возник язык. Все-таки язык - это наша память. О каждом слове, если его начать развивать, можно написать по тому - столько в слове заключено информации. Не только о его лингвистической, генетической сути. И звуки... До букв если дойти - вообще можно с ума сойти. Начинается какая-то кабала.

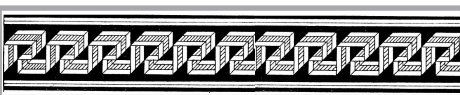
**С.С.:** А как Вы, в этом смысле, к работе Хлебникова относитесь?

**А.Б.:** Я Вам уже говорил - я человек непросвещенный...

**С.С.:** Нет, как читатель.

**А.Б.:** Если бы я был читатель! Я Хлебникова никогда не мог читать - не потому, что он мне не нравился, а потому что... Не имею я к нему ключа. А на моду я не реагировал. И на протест я не реагировал. Я помню, что мне понравилась проза очень, и повлияла на меня. И вошла внутрь меня. Я его чувствую - гораздо больше, чем знаю. И он, по-видимому, и есть - тоже чувство. Сам Хлебников есть чувство. Все не устают на него ссылаться, и футуристы так от него зависели. У них другое, может быть, было ухо, другая эпоха - слышали, что он делает с речью. Я этого не слышу - более традиционен. Но никак не возражаю - открываю и вижу, что... не догоняю, как теперь говорят. Вот вам, пожалуйста, сленг. А выразительно.

Да, может быть, это просто более наивные открытия, язык. Но иногда он





так и рождался - как более наивная часть...

Вот, кстати, хорошая книжка. Давайте откроем где угодно. «Будетлянский клич». Я вдруг открыл, начал читать, - понравилось - Дмитрий Кравцов. Тут довольно большое сочинение. (Читает.)

**С.С.:** Да... матиссовские краски. Зеленый и красный, не смешивает, схлестывает. А смешал бы - грязь.

**А.Б.:** Я понимаю, что тут что-то происходит. Может быть, потому, что он менее известен. Может быть, слава что-то заслоняет. Крученных - тоже. То, что он был рыцарь, это я понимаю.

**С.С.:** А Вы застали его, виделись с ним?

**А.Б.:** Нет, но многие из моих друзей успели его посетить - и это производило на меня большое впечатление. Меня вообще чужая слава как бы тормозила. Неловко. Смотреть на человека, как в зоопарке.



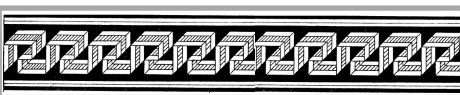
Видите, наш сегодняшний разговор получается совсем другим. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Вот кто это придумал? Что он имел в виду - что это ответственность за слово? Ничего подобного. Что его назад не вернешь. Неповторимое сочетание речи. Либо - многие люди говорят одно и то же, либо - что-то еще происходит.

Меня жена пыталась научить понятию «два на два», коду удвоения русских смыслов. Как бы это сказать... Надо, действительно, не на уровне фольклорных ансамблей, а живую народную речь... Арина Родионовна - это не миф, а большая удача. Александр Сергеевич недаром в это вцепился. Наши чудные прозаики - их никогда не упомянут рядом с Булгаковым или Набоковым, - Писахов и Шергин, которые были северными людьми. На севере дольше держалась речь. Это я не за лапти торгуюсь. А за музыку. Вот если музыка исчезнет - это другое дело.

А музыка не может исчезнуть - потому что язык поющий, льющийся, как однажды польстил ему Томас Манн: «Язык без костей». Потому что немецкий - это одни кости. Всё время скелеты, скелеты.

Я считаю, что одна из лучших страниц, мной написанных, - это посещение Берлинского зоопарка, отделения насекомых, связанного с мимикрией. Есть некоторые страницы, которые стоят гораздо дороже моего интервью. Может быть, действительно, лучше их воспроизводить. Чтобы текст имел двойное звучание. Самого себя цитировать как бы неловко, а в то же время есть места, которые лучше процитировать, чем пересказывать их на новый манер.

**С.С.:** Возвращаясь к музыке языка и обстоятельствам речи, - странно, необъяснимо: как первое может обусловлено быть вторым? Вот - вдруг - возник Саша Соколов... Благодаря-вопреки кому-чему? Вдруг. Недоумение Платона





перед этим неисповедимым словом: Вдруг.

**А.Б.:** Да, пришли Те Кто Пришли... Это, по-видимому, трудно, у него есть проблемы с текстом. Но я не думаю, что без этих проблем что-то может произойти.

**С.С.:** Вы писали о том, что без воина автор невозможен. Воина - по отношению к языку.

**А.Б.:** Не о войне - о битве, которая происходит на границе письменного и устного слова. Или на границе прозы и поэзии - это меня очень интересует. Переход.

Как одна старушка, вредная, из «бывших», говорила: ученые - что они знают? откуда солнце? - Приблизительно так можно сказать и про язык.

Почему-то основные вещи все время бывают пропущены. Например, акцент. Мы были империей, где русский язык существовал во всех республиках. Плохо, что не изучали русский язык провинции и не овладевали им как-то... хотя бы из вежливости. Это бы укрепило границы империи.

Но речь у них становилась другой. Музыка становилась другой. Акцент появлялся другой. Хотя они жили в своем русском языке.

Когда Вы сказали, что и за границей наши тоже языка не знают... А ведь у них тоже меняется звук, интонация. У тех, кто живет в Германии, и у тех, кто в Америке, - что-то появляется другое.

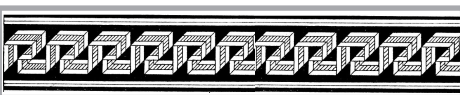
**С.С.:** Это связано с невежеством, о котором Вы говорили, или причина в великодержавной языковой гравитации «великого и могучего»?

**А.Б.:** В невоспитанности. Я уже говорил, это должно быть в системе поколений. Отец, знающий иностранный язык, передает его сыну, а затем внуку и т.д. Здесь же сопротивление очень сильное, потому что я знаю, что мать сама не знала иностранного языка, но определила меня все-таки в первую английскую школу. И благодаря этому я чувствовал себя более-менее полноценным человеком - когда мне разрешили разъезжать, он всплыл, восполнился, но, конечно, я его никогда не буду знать так хорошо, как хотел бы.

Но я пробовал учить своих детей. И сталкивался с сопротивлением. Значит, это усилие должно быть в нескольких поколениях. А как легко было это прекратить! Легко.

Начать надо вовремя. Пока этот свежий гений филологический в детях живет, который Корней Чуковский так хорошо описал...

И Пушкин не знал толком, какой у него язык родной - русский или французский, - до тех пор, пока не выбрал... И Набоков, который сумел работать в двух языках. Вот Бродский сделал над собой усилие - несмотря на то, что на процессе его упрекали в неоконченном среднем образовании - шесть классов, - тем не менее, он пошел на то, чтобы изучить польский и английский. И это уже что-то. Он понимал, что без этого - никак.





А некоторые - иначе. Вот Юз Алешковский - мой самый близкий друг из эмигрантов - такой мастер советского языка, и знаток - он действительно гениально овладел этой системой речи и первый написал книги на советском языке, - когда он только свалил, он ходил в какую-то группу, учился языку, но прогресс его был слаб. Когда он на какую-то вонь сказал: «This is an umbrella», - я всё понял. Я спросил его: «А кто-нибудь хуже тебя знает английский в твоей группе?» - «Да, есть один компьютерщик».

Ну, компьютерщик, наверное, освоил - на своем уровне. А ему я вскоре говорю: «Как твой прогресс в английском?» А он: «Да пусть они, падлы, сами прыгают через этот языковой барьер!»



**С.С.:** Как Вы думаете, в контексте разговора о языке, фигура Бунина - не...

**А.Б.:** Вот он вроде бы тоже сопротивлялся знанию... Но он из провинциальных дворян, значит, не позаботились родители вовремя. И это очень трудно восполнить потом.

**С.С.:** Я имел в виду язык Бунина, его мастерство, прозрачность, этот «лессировочный» эффект светотени речи... Так ли это? Не слишком ли его оценка завышена?

**А.Б.:** По-моему, он прекрасный русский язык пишет. Споры идут только о том, что предпочтительнее - прозу или стихи. Наибольшие оригиналы предпочитают его стихи. Просто литературный русский язык достиг уже слишком большого совершенства, и, может быть, отчасти Бунин пострадал от этой традиции.

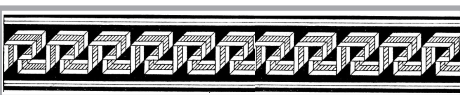
И меня в этом же недавно упрекала такая... Инга Кузнецова. Что я раб стиля. Она не понимает, что я пишу набело и никогда над ним не работаю - это у меня естественная форма... Читал с удовольствием в детстве, так что... Не такой уж я и стилист, наверное. Совсем не такой. Смысл сказанного и энергия сказанного гораздо дороже.

**С.С.:** Но это и создает ощущение живой, недистиллированной речи. Переспрашивание, сомнение...

**А.Б.:** Ну да... Там должно оставаться движение - внутри речи, внутри текста. И эта инерция - инерция текста, - она передается, приобретается, наращивается - так можно добежать и до его естественного конца. Но это будет наиболее мощное состояние - добежать, а не выдохнуться.

**С.С.:** Позавчера Вы говорили о языке конвойных, и еще - об Указе от тридцать седьмого, который на самом деле тридцать шестой. Эта часть речи не записалась, объем памяти в диктофоне оказался переполненным. Не могли бы Вы вернуться к той мысли?

**А.Б.:** Этот мой текст, который мало кто воспринял всерьез, об астрологии русской литературы, связанной с восточным календарем, - я





воспроизвел его в последней книге - «Кабала» с одним «б».

Меня поразило то, что когда открывается какое-то поприще, возникает (непонятно откуда - с небес или из недр нации) некий призыв, и являются люди, талантливые, отмеченные этим призывом.

Двенадцатилетний зодиакальный цикл. Всплеск, затухание. Пушкинский круг укладывается в такой цикл. Серебряный век тоже.

Потом, интересно, что в пределах одного призыва есть противоположные друг другу знаки, расположенные по диаметру, а через век, наследуя, они наследуют противоположный знак. Также очень любопытное соображение. Вот, как, допустим, против Толстого зародился, по-моему, Солженицын.

Единственные две Змеи, которые возникли подряд в русской литературе, как удвоение, — Гоголь и Достоевский. Достоевский, родившись через двенадцать лет после Гоголя, продолжает ту же традицию. И потом, как их противоположность по знаку, появляются Набоков с Платоновым.

Или, в девяносто девятом году, ни с того ни с сего, родилось чуть ли не десять прозаиков, которые обеспечили нам будущий век - и по судьбам, и по текстам.

А когда идет призыв вынужденный, демография наша, о которой наконец сейчас стали говорить, что русский народ катастрофически убывает, и начальство с озабоченными лицами выдает по полтинничку за ребенка...

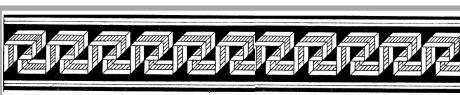
Я-то родился через год после указа Сталина о запрещении аборт. И меня это очень заинтересовало, почему в тридцать седьмом году (год Красного Быка) - это я на шестидесятилетие свое сообразил (в будущем году, на семидесятилетие, будет повод еще раз это вспомнить), а шестидесятилетие это ровный, полный повтор года, который повторяется не только по двенадцатилетним циклам, но и по стихиям, - и девяносто седьмой год равноценен тридцать седьмому...

Так вот, я посмотрел по Зодиакам, там, Вы знаете, цикл с февраля начинается. Февраль смутен, но уже в марте, в один день, родились Распутин с Макашинева - и их уже можно заподозрить, что родители попались, что называется, - под указ, который был 26 июня 1936 года. Легко подсчитать. И дальше, каждый месяц, рождался будущий классик. Некоторых уже нет.

**С.С.:** В том же году рождаются Ахмадулина, Высоцкий...

**А.Б.:** Ахмадулина — в апреле. В мае, кроме меня, еще кто-то... Потом - Юнна Мориц, Вампилов, Аверинцев, многие... и кончилось всё Высоцким, который, хоть и родился в тридцать восьмом году, попадал в систему года Красного Быка.

Таким образом, от февраля тридцать седьмого до января тридцать восьмого, родилась такая невероятная когорта. Помню, Аверинцев очень воспротивился этим моим выкладкам — он же был сыном очень взрослых родителей, как я узнал позднее, и ему не нравилась такая богопротивная мысль, что родители могли его родить несознательно.







В свое время я писал роман и не дописал - «Азарт», про террориста-одиночку, который себя собирался взорвать вместе с Кремлем (у меня не хватило просто культуры, чтобы этот роман поднять), и там я придумал преждевременно рожденного гения.

Толчок к рождению этого героя дал мне сам слух об Аверинцеве - что такой человек, моего года рождения, знает то, что уже было прекращено революцией, - знает античность, классику, и я был восхищен - от зависти, наверное, - этим фактом, и придумал этого героя, который родился преждевременно, по судьбе преждевременно.

Но я ему придумал генеалогию и соединил его со слухом о Гаспарове, который мне казался армянином, - хотя это не совсем так... Их обоих уже нет. И соединил таким образом, что один русский род очень медлил, рождал себе как бы внука, а другой род, кавказский, наоборот, очень торопился - и таким образом пересеклась система прапрапрадеда с системой внука, и они сошлись в одном порядке.



И потом я вдруг читаю, что отец Аверинцева был на пять лет старше Блока. Это что-нибудь да значит, понимаете? Это сказалось на его здоровье, некоторая анемия, но отец, как человек той закалки, передал ему именно то, что надо. Вот вам разрывы поколений и сущностей.

Так что мы не так легко восполним эти три поколения. Мне мать все время говорила — она не была нисколько человеком искусства и литературы, кстати, она была немножко «бывшей», пятого года рождения, она помнила ту жизнь, - и она говорила: потребуется три поколения. Я не понимал, о чем она говорит. У нее не было никаких революционных мыслей, она вполне тихо жила...

**С.С.:** Это полный оборот памяти - три поколения.

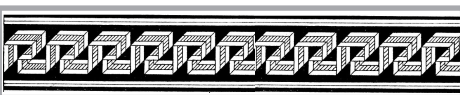
**А.Б.:** Да. А генетическая память существует, я это на себе проверил. Выбалтывать не хочу - это тема моей следующей книги. Мне вдруг как бы объяснилась моя судьба - на основании двухсотлетних дедов, которые не были известны даже моему отцу - а я обнаружил. И некоторые странности в моей судьбе очень хорошо укладываются, некоторые непонятные тяготения и пр.

А что за пороки родителей мы отвечаем - это тоже факт.

Странная вещь: у меня потребовали недавно объяснение убийства этого армянского мальчика - поскольку я автор «Уроков Армении», - я очень рассердился, сказал, что хватит меня использовать по таким поводам (действительно, я сейчас учу себя тому, чтобы не писать больше предисловий, комментариев, не давать интервью, в частности и т.д.).

Потому что не так много текста уже осталось во мне, чтобы его таким образом тратить. Хотя, с другой стороны, у меня есть и другая установка - что надо только тратить, тогда есть и восполнение. Но это не тот способ тратить - писать некрологи и предисловия.

И в том случае, я как раз был в этом настроении, отказал, а потом все-таки говорю: ну ладно, но тогда я вам всё скажу как есть, вы уж так и





напечатайте. Что страна не освобождена, а расконвоирована, и на свободе оказался конвой. А у конвоя уже и дети подрастают. И не только конвою делать стало нечего, но и детям. Что же вы хотите? Это люди, приученные к малой власти, и у них другого способа, кроме как подчиняться и над кем-то властвовать, нет. И тогда, в системе косвенного соизволения, это всё может вылиться в погромы. В погромы, в фашизм, - во всё что угодно.

**С.С.:** То есть просто статистически, потому что страна сидела в лагерях и не могла размножаться.

**А.Б.:** Эски не размножались. Размножался конвой. И вот это гораздо более опасный демографический взгляд.

А сейчас такой отрезок времени, когда у власти находятся люди, родившиеся в промежутке между войной и смертью Сталина. Они рождены теми людьми, которые вполне верили системе, в Сталина и в свое будущее, и это довольно серьезный момент. Это поколение должно пройти. Безусловно. Потому что наши еще на чем-то другом замешаны. Война хотя бы была в памяти, это серьезное переживание. А тут такая полная уверенность в себе - легко представить систему родителей тоже.

Вообще, история такая блядь, что пока в ней правда уляжется, она еще сорок раз будет переписана. И...

Восстановление церквей - дело хорошее. А веру обрести без покаяния невозможно. А этого нет как нет. Наоборот, идет огромное сопротивление как же так, плевать в собственное прошлое, и т.д. Не плевать. А наоборот, сочувствовать ему.

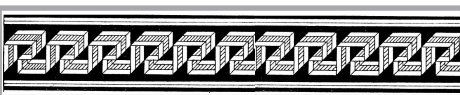
Вот демография - погибшие на фронте и в зонах. Наверняка это люди в процентном отношении более качественные, чем... А что такое гибель одного человека? Это прекращение его потомства, а не смерть этого человека. Которая может быть рассмотрена, в свою очередь, как трагедия, как горе. Ну, тут мы уйдем далеко от языка. Хотя к языку это всё имеет прямое отношение. Потому что кто им пользуется, таков и язык. Это нам только так кажется, что мы говорим на одном языке.

**P.S.**

*Прощаясь, он дал мне свою книгу - «Пятое измерение», сказав: я там сделал закладки для Вас в главе «Битва», это о языке. Почитайте, если понадобится, можете взять оттуда - к нашему разговору, дополнить. Вообще, я подумал, хорошо бы издать эту главу отдельной книжкой. И еще включить в нее... Собственно, все, что я писал, я писал лишь о нем, о языке.*

*Вот несколько фрагментов, взятых мною из этой главы.*

«Словарь - это справедливый аналог мира, взятого в статистическом сокращении, где слово «добро» и слово «зло» равны друг другу, а почему-то «бог» и «дьявол» не равны. В слове отнюдь не заключено раскрытие его





смысла, и нем лишь координаты в пространстве материи и духа. Идеальная иерархия слов, как определил Л. Толстой, чудо пушкинского языка. Выдумать слово можно, нельзя выдумать того, что оно обозначит. Как выводит язык эту общую заслугу предмета, понятия или имени, за которую принимает или не принимает в свои ряды, изгоняет или временно отравляется новым словом, - воистину тайна сия велика есть».

«Про неисчислимое число капель, составляющих океан, с уверенностью можно сказать лишь одно: что оно конечно, что первая капля будет первой и последняя - последней. Даль - это наш Магеллан, переплывший русский язык от «А» до «Ижицы». И было у него первое слово, которое он записал, и было, оказавшееся последним, предсмертное».



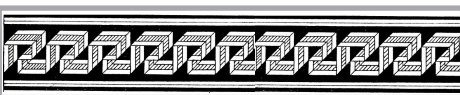
«И для меня не просто символ, что из писателей пушкинского или послепушкинского поколения у постели умирающего Пушкина находился именно Даль, что именно ему достался простреленный пушкинский сюртук; если пытаться осознать не только пушкинское наследие, но и пушкинское дело, не только место Пушкина в развитии и смене литературных течений и форм, но и его место в самой русской речи, то не кто иной, как Даль, является его преемником и наследником. И если Даль и не гений, как Пушкин, то Дело его гениально, и трудно даже вообразить, кому вообще оно могло быть по плечу и под силу».

«В конце концов можно сказать, что истинного значения даже самых важных слов не знает никто, от обывателя до специалиста; такие таинственные, или меняющиеся, или неформулируемые понятия данное слово обнимает или накрывает. Никто толком не скажет, ни что такое красота, ни что такое атом. Для слова в данном случае важно не раскрытие смысла, а определение и пространство материи или духа».

«Стать словом невозможно, словом надо быть, и только в таком случае у него есть шанс на возникновение в языке».

«Словарь можно читать, можно дышать словарем, но вряд ли современный писатель может им пользоваться. Может, это характерно лишь для нашего поколения, может, это усугублено моими личными свойствами, но мое убеждение, что просвещение писателя (тут как важен эпитет - современного...) есть прежде всего устное просвещение, а не письменное и тем более не книжное. Я и до сих пор читаю книги, шевеля губами, мысленно - вслух (читаю, как слышу, а пишу, как говорю)».

«Писатель все-таки пишет смыслами, а не словами. <...> Ста слов, конечно, маловато, но один из самых богатых по языку прозаиков советского времени - Андрей Платонов, безусловно, не богат по словарю; это для него естественно, но это и вполне осознанно. Один из самых трудных в своих смыслах для чтения, Андрей Платонов выражал этим смыслы самыми «бедными» словами, словами, которые поймет каждый, - смыслы, которые





лишь может понять каждый, если взойдет на духовное усилие, которое, увы, не каждый на себя берет. Современную литературу надо читать без словаря следовательно, и писать без словаря».

«Текст всегда располагается на плоскости, но он объемен, в нем с бесконечной частотой и точностью меняется параметр, на бумаге не отраженный, - иерархия слов. В этом третьем измерении каждое слово отрывается от листа, помещается от него на различном расстоянии. То приближаясь, то отлетая вдаль, то приликая к бумаге, оно не просто что-то значит (информация...) - оно живет в контексте этих «расстояний».

Иерархия, порядок слов - не алфавитны. Если бы возможно было составить словарь по иерархии, мы бы писали такими иероглифами, перед которыми померкла бы сложность китайского письма».

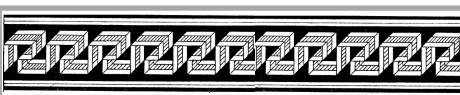
«Язык, живущий сегодня, в этот час, в этот миг, - это живой, пульсирующий объем, тело, как бы один единый текст, никому в полноте недоступный, непосильный, текст, который завтра изменится, которого не станет. Текст этот - слишком огромен для индивидуального сознания, но он вполне ограничен, не безмерен. Его - столько и такого. Его не успеешь прочесть его можно лишь уловить как общий гул, а то и общую музыку. <...> Чем точнее текст, тем точнее он воспроизводит объемную модель современного языка (на другом не сыграешь, другого - не дано), на миллидолю не ошибаясь в «расстоянии» до каждого слова. Именно тогда каждое слово текста звучит в контексте, то есть несет не только так называемую информацию, но и уподобляется самой жизни, ее состоянию».

«Еще и в том дело, что умершее в нашей общей сегодняшней речи слово не мертво. Как абсолютно жив как книга Далев словарь, как жива речь Шергина, как вечны так давно не переизданные Далевы же «Пословицы русского народа» (вполне современная, вполне настольная книга)... Но вот и еще один словарь, как всякий труд такого рода приветственно раскрываемый ревнителем родной речи, - «Словарь эпитетов русского литературного языка» («Наука», 1979).

Вы не найдете в нем ни одного эпитета к слову СОВЕСТЬ или к слову ЧЕЛОВЕК, потому что этих слов в словаре нет. Так что следует остережиться измерять жизнь слов одной лишь их сегодняшней употребимостью».

«Умирают слова, прекрасные, русские, за неупотребимостью... но никак не умирает русская речь, ее течение, ее способ выражать и осмыслять явление. Беднеет словарь с утратой и исчезновением тех подробностей, для которых когда-то язык находил достойные их слова, но еще хуже, если утрачивается сама способность понимать и постигать написанное, когда обедненный язык начинает идти на поводу у им же воспитанного читателя».

«Как всякая непознаваемая категория, поэзия обрастает огромной раковиной периферийного постижения, наукой о стихе. Тут потрачена бездна ума и учености, но всегда рядом со смыслом сказанного. Так петух, передумав





драться, поклевывает песок в стороне от противника».

«Мы говорим: «Непостижимо прекрасно». И еще мы говорим: «Невероятная свобода». Какая же тут свобода, когда она отовсюду стеснена: обрывистым дыханием строки, усыпляющим топтанием ритма, побрякиванием обязательных рифм на веточках строк... это не вольное древо речи - новогодняя елка. Напрашивается полезная мысль, что для проявления высшей свободы, которая есть поэзия, необходима изначальная клетка, золоченая тюрьма, незабываемый канон, откуда с тем большим свистом, чем все это теснее, вырывается вольное слово или истинный смысл. Трепет горла особенно хорошо ощутим под пальцами».

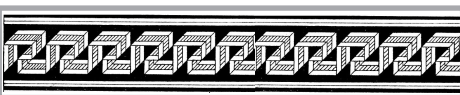


«Значит, само тело. Неужели же наша невнятная обыденная речь есть распавшаяся и рассыпанная поэтическая? А не наоборот, как привычно полагать, поэзия - есть высший концентрат речи обыденной, результат духовного, аналогично естественному, отбора?.. Но - именно так, наоборот. Поэзия — первична по отношению к рабочим и обыденным смыслам речи. Но - ах! — тут бы мне и потребовался знаток, которого я только что обругал. Он бы мне подобрал примеры. Он мне их не подберет. И я опять останусь в нищете недоказанности, с тем стесненным чувством правоты и обиды, которое возвращает меня в детство...»

«Именно так мы себе часто снимся - в третьем лице, - возможно, это тоже тень изначальности, до грехопадения, до Я. Возможно, Адам и Ева думали о себе в третьем лице и в более зрелом возрасте, отличая себя друг от друга лишь по роду местоимения, хотя еще и не по полу. (Любопытно, что Я — бесполо.) Так вот, я хорошо запомнил, с каким испуганным недоумением, с каким противоестественным усилием, с каким потрясением, как бы с чувством невозвобновимой утраты ребенок разлепил губы для первого Я. <...> Педагог не способен обучить младенца речи в той же степени, как и рыбу. Младенец учится речи сам. Лишь слыша ее. Все те законы речи, до которых и в малой степени не дошла наука, открыты младенцу с рождения и вновь закрыты с момента овладения речью».

«Я, право, не знаю, что было бы с русской поэзией и отчего бы она была именно русской, кабы не приговоренная бедность рифм «кровь - любовь» и «человек - век». И что было бы со смыслом русской литературы и отчего бы она была именно русской, кабы не были созвучны «деревня - деревья - древний» и «крест - крестьянин - христианин». Здесь лежат первые и скорее впоследствии забытые, чем уточненные, связи языка и жизни».

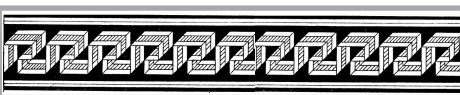
«Сходство по звучанию, очевидно, изначальнее сходства по смыслу. Оттого особой гениальностью веет от стихов непостижимо простых по слову, не отягощенных метафоричностью и эпитетом. «Пора, мой друг, пора...», «По небу полуночи ангел летел...», «Девушка пела в церковном хоре...», «Мать говорит Христу...», «Тихая моя родина!» Здесь слова молятся в храме речи, а не выживают в водовороте языка и опыта».







Но вот, объединив звуки в созвучия, созвучия в речь, младенец произносит Я. Синтез вновь искромсан этим орудием анализа - Я. Место Я в великой поэзии - тема неисчерпаемая, однако я нахожу особый смысл в том затененном, непроявленном, испаряющемся Я, которое стоит на грани его первого произнесения, но как бы с обратным знаком, как бы с желанием вернуться в его «допроизнесение».







## ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Эту поездку, или скорее полет, я совершил на деньги Всемирной Академии Милосердия, которую я прописал в своем доме. Академику Алексею Турилину, уже несколько лет проживавшему без паспорта и без прописки, выплатили многолетний пенсионный долг и он в припадке очередного приступа милосердия купил мне билет до Кисловодска, где должен был состояться всемирный фестиваль независимых поэтов.

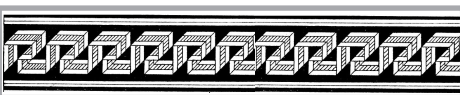


Наскоро напечатав в «Григ-Прессе» свой давний сборник стихов «Жасминовая ветка», ощутив невесомость дорожного пакета, я позвонил редактору «Дикого поля» А. А. Кораблеву и получил от него приличный довесок в виде комплекта интеллектуально-художественного журнала.

Вторая цель – поздороваться с Эльбрусом – меня окрыляла.

Я собрал приветы своих знакомых в рюкзак и, когда их набралось достаточно, у меня зашевелились за спиной крылья, - разбежался, но не взлетел. Понял – чего-то не хватает или – перегруз. Полез в пакет, выбросил «Жасминовую ветку» - не взлетаю. Я стал просить благословения у близких и родных, у коллег, учеников: рюкзак тяжелеет, но росла и мощь моих крыльев. И вот мне явился серафим в образе Теодора Гланца. Я попросил у него индульгенцию, которую он незамедлительно выписал. Его стихотворение, только что выловленное из мусорного контейнера «Взгляд» возымело необъяснимую силу. При очередном разгоне я почувствовал, что мои дырявые штиблеты оторвались от земли. Я лечу, лечу, лечу на всемирный фестиваль независимых поэтов в таинственный для меня Кисловодск. Дышу глубоко: азот, сера, ртуть, фенол заполняют катакомбы моих легких. Угольная пыль, доломит как шлейф от реактивного самолета тают в воздухе. Я лечу, лечу к Эльбрусу, я лечу на фестиваль! С кем я встречу? Достаточно ли я независим?

Заправился я обычным горючим: пакетик изюма, бутылка минеральной воды. Да, а что пьют независимые? Совершаю вираж, чтобы схватить? Ага, вот двухлитровая бутылка «Сармата» светлого, естественно, хмельного, конечно.





Мол, знай наших: что попало скифы не пьют.

И вот на горизонте... террикон? Вроде – да – но белый – не меловой ли? Но зелень, зелень. Обращаюсь к рядом летящей. Спрашиваю, что за шахта.

– Какая шахта, ангел мой, это гора змейка.

– А кто ее обкусал? Что за нарезы такие поперечные?

– Да это новые русские строятся. Камень добывают. Вот и сделали у змейки капюшон – превратили в кобру.

По мере углубления в горы чувствую – плохо: кончается азот. Пью минералку, ем изюм – не помогает. Кислород в забившихся жабрах делает свое дело: пьянит, голова кружится. Неужели не выдержу?

Но вот и Кисловодск! На перроне меня встречает редкий дождик и толпа людей с табличками на груди. Неужели это меня встречают? Но я же независимый: никому не сообщил о своем прибытии. Пригляделся к табличкам: – Сдаю квартиру! Сдаю квартиру! Сдаю квартиру! А высадился я всего один. Ну, думаю все: набросаться, утащат куда-нибудь, а у меня через два часа фестиваль всемирный и я еще не знаю где, в каком месте.

Хорошо хоть есть один адресок, но уж больно странное совпадение: улица Чайковского. Не подвох ли? Не надули ли меня, не пошутили? Складываю крылья, прыгаю в маршрутку. И тут новая беда: я же свалился с неба и у меня гривны, а здесь они не в ходу.

– Хорошо, едь так! – говорит таксист.

– Нет – говорю – мои деньги лучше.

Просят четыре рубля – я и отдаю четыре гривны, а в голове: щелк... щелк... щелк – проиграл, плакали денежки академика милосердного.

Еще один подвох: остановка Маяковского. Делать нечего – встаю. Ищу адрес. Вот эта улица, вот этот дом, а я – нет! Не может быть! Не может независимый поэт жить в таком заурядном, двухэтажном доме из силикатного кирпича, да делать нечего – стучусь, вернее, звоню. Ну, слава богу, свои!

Обрадовались, признали, обнялись. Вкусили пищи, насладились питием. Кстати, замечаю, что у Гомера герои только то и делают, что вкушают да наслаждаются питием, попутно подчиняясь судьбе убивают, мол, если бы не эта слепая баба, – я бы тебя и пальцем не тронул.

А сам ближе к делу: подавай всемирный фестиваль. И тут узнаю: во-первых, не фестиваль, а форум; во-вторых, не всемирный, а краевой.

– Как! – кричу – Я так и знал! Я чувствовал подвох!

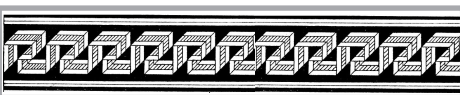
Меня успокаивают. Стас Подольский – председатель этого форума; Юля Чугай – хозяйка дома – подливает борща, зная мой варварский вкус. Борщ возымел действие: потихоньку успокаиваюсь, но все же не сдаюсь: – Я что, прилетел напрасно? Кого вы еще надули?

– Где Юрий Беликов, отец «Приюта неизвестных поэтов»?

Отвечают, что не смог приехать из Москвы белокаменной, подкармливает всероссийский молодежь Ильи-премиями как раз в это время. И не только всероссийский, но и белорусский (Анна Павловская как исхудала).

– Стоп, стоп, – говорю – это меня не интересует, а украинскую поросль, что снова обошли?

– Да нет же – оправдывается Станислав Подольский, – ведь в сборнике пропечатаны и... и... и...





– Ты, Стас, не заикайся, а скажи честно: будет ли фестиваль, то бишь форум – пусть уж краевой?

– Да нам пора двигаться, через полчаса начало.

Наконец берет огромную тяжелую сумку с новым номером «Литературного Кисловодска» – ремень врезается в плечо. Я беру свой динамит интеллектуально-художественный, и двигаем. –

Куда?

– К центрально колоннаде, к нарзанным источникам.

– Захвати стаканы, Стас, – кричит уже вдогонку Юлия Чугай.

Маршрутка докатила быстро до нарзанных источников. Как и положено – причастились. Снова огорчение: вода невкусная, малогазированная да и теплая, да и теплая, а я-то думал – кацальская...

Форум собрался в актовом зале библиотеки при нарзанных источниках. Стены – деревянные, полы – ковровые, столы – гладкие, поэты – независимые.

Для знакомства решили читать по кругу. Когда дошла очередь до меня, решил пропеть свою глухариную песню «Пляски ночного костра», и после первых двух слов: «звезды меркнут» – не дал договорить мне Август Май мое «над костром», вставив «звезды гаснут» из Никитина. Но остановить меня ему не удалось, я упрямо продолжал: – «Звезды меркнут пред костром...» и т. д. по тексту до конца. И это было не единственное покушение на мою независимость.

Из прочитанного другими в памяти осталось сладкое придыхание Жени Гордеевой, которое так не нравится Сереже Смайлиеву, она дарила каждое слово с любовью и какой-то интимной нежностью. Запомнилось стихотворение моей землячки Светланы Гаделии «Девочка-судьба», да резкий выпад Ивана Зиновьева в сторону Петра I:

*Царь Петр уже давным-давно  
В Европу прорубил окно.  
Мужик в окно вставляет жопу  
И опыляет всю Европу.*



На вопрос, поставленный ребром руководителем «Форума» Станиславом Подольским, «что для меня Поэзия», независимые отвечали по-разному.

**Сергей Сутулов-Катеринич** (Ставрополь): «Творчество – экспромт городской сумасшедшей, бредящей в ритме, рифме стихами. Поэт похож на садовника, который сажает сам не зная что. И сам же поражается возникшему саду, небывалым цветам».

**Иван Зиновьев** (Кисловодск):

– Да, поэзия – экспромт, но от жизни, диктует реальность.

**Виктор Василевский** (Санкт-Петербург):

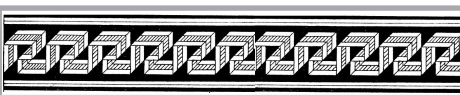
«Начало стихотворения часто случайно, развитие – от личности, потом – шлифовка».

**Евгения Гордеева** (Кисловодск):

– Поэт – осклок Бога. Пишем – душой. Поэзия – голос бога, интуиции.

**Николай Чайковский** (Украина):

«Есть поэзия от Бога, а есть и от иной силы».





**Иван Аксенов** (Новопавловск):

«Есть поэзия, а есть поэтика (мастерство, ремесло). Признаки мастерства: ритмы, рифмы, метафоры и т. д.»

**Светлана Гаделия** (Ессентуки):

«Все просто: мелькнула мысль – складываются строки, приходят ниоткуда, пишут сами себя».

**Вадим Пенчалов** (Пятигорск):

«Тайная свобода нужна».

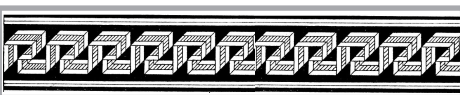
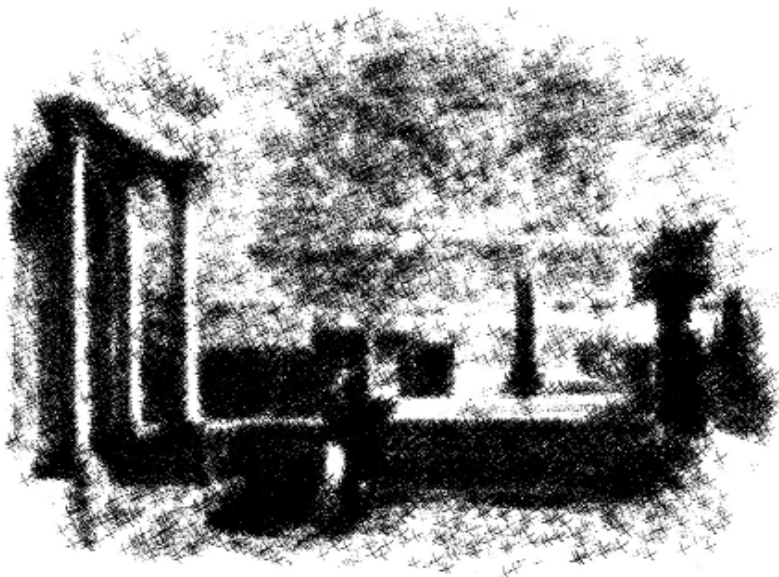
**Некто, гость:** – «Определения нет, но, как говорил один приятель, Поэзия – это свежесть, утоление жажды – в воде, утоление дыхания в воздухе, утоление зрения – в свете, чувство любви, доброты, сострадания – женщине».

И последнее мое огорчение: гуляя в знаменитом парке г. Кисловодска, я увидел пещеру, в которой закован Демон. Демон, вдохновлявший Лермонтова, Врубеля, уже никого не вдохновит: он закован в цепи, засажен за железные решетки. Больше не пройдет «в синеве ледника от Тамары». Да и Эльбрус, ради которого я летел на крыльях в Кисловодск, занавесился облаками – не открылся.

*Николай Чайковский*

19 мая 2003 – 7 марта 2007г.

Кисловодск - Горловка







**Илья Тюрин**

\*\*\*

Ломая лед в полубреду  
Двора ночного,  
Я скоро, может быть, сойду  
С пути земного.  
Когда один (нельзя двоим)  
Спущусь глубоко, -  
Кто станет ангелом моим,  
Кто будет Богом?  
И почему - на высоте,  
Внизу и между,  
Мы вынуждены в простоте  
Питать надежду  
На некий разума предел -  
На область духа?  
Набат как будто не гудел,  
Да слышит ухо.  
Как нацию ни выбирай -  
Она режимна.  
Известно, хаос (как и рай)  
Недостижим, но  
Не в этом дело. Потому  
И в мыслях пусто:  
Не доверяющий уму -  
Теряет чувство.



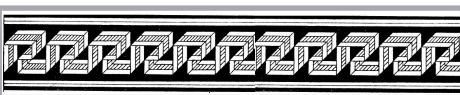
**Анна Павловкая**

\*\*\*

Я перестала плакать, перестала  
Читать стихи, чтоб слышала родня.  
Я, кажется, сама в себя вращалась  
И поняла — нет близких у меня.

Тогда к друзьям свои простерла руки,  
Но, слыша равнодушный разговор,  
Я поняла, что я вращаюсь в звуки  
И что людей не знала до сих пор.

К любимому вела меня дорога,  
Но, видя виноватый взгляд его,





Я поняла, что я расту в Бога  
И больше в мире нету никого.

**Аркадий Кутиков**

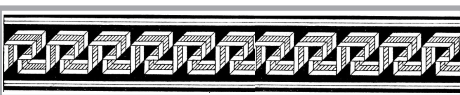
**ВАРВАР**

Идет полями и лесами,  
Идет ромашковым ковром  
Мужик с невинными глазами,  
С фамильным тонким топором.  
Душа в лирической истоме,  
В мазутной неге сапоги...  
Под ним земля тихонько стонет,  
Пред ним дрожат березняки.  
Он понимает птичьи вопли,  
Он любит беличью возню...  
Он колья, жерди и оглобли  
Считает прямо на корню.  
Легко живет топорным счастьем,  
Листает весело рубли...  
Трудолюбив, хороший мастер —  
И тем опасней для земли!

**Евгения Гордеева**

\* \* \*

Смягчишься ли,  
мой критик беспощадный?  
Отпустишь ли? Огрехи - не грехи.  
Мой нежный шепот,  
голос мой парадный, -  
Все перельется в плавные стихи.  
Рассеянные нотки покаянья,  
Благодаренья светлая река.  
Да, я живая, я — не изваянье,  
И темной кистью тронута слегка.  
Меня ль, среди словесной этой пены,  
Ты празднуешь, покуда я пою?  
Я, как щегол, не выучив ни сцены,  
Бесхитростно ликую и скорблю.  
О времени полуулыбка лисья!  
О ласковое тонкое чутье!







Поющему слепое закулисье  
Передаёт дыхание свое.  
Пока последний отзвук не истаял,  
Пока я на свету, а не в тени, -  
Охотник зоркий, что силки расставил, -  
На заблужденья общие взгляни!  
И вот тогда, под пристальною лупой,  
Вновь невпадал, нехвата, вразной,  
Я окажусь, быть может, пташкой глупой,  
Но все-таки... любимую тобой.

**Светлана Гаделия**

\* \* \*

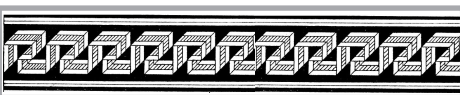
А Бог его весть, для чего мы живем  
и песни поем для кого.  
Но вот появляется некий проем  
в пространстве мирка своего.  
И так расширяется вдруг окоем -  
неважно, там свет или тьма.  
Не знал соловей, как свистать  
нашла его песня сама.

1996 г.

**Сергей Смайлеев**

\* \* \*

Взрослею. Все смиренней узнаю  
В дарах - приманки,  
черт те что - в отчизне.  
И - ни желанья вырулить в струю  
Участия в державном бандитизме.  
Кому уж тут сподобишься в друзья?  
Вот среди книг - и то одни скитальцы.  
Да и забыться вроде бы нельзя:  
Прольешь росинки совести сквозь пальцы.  
Притихнешь с неотпущенной виной  
За всех, кто твой переосмыслит опыт,  
Опомнившись, что связан со страной,  
Где что-нибудь на людях экономят.





**Станислав Ливинский**

Октябрь. Закат в проеме, как очаг  
в каморке папы К., понеже – Веста.  
Взгляд в спину обретает форму жеста,  
обнять чтоб напоследок. На мощах  
и нас из одного лепили теста,  
но в разных, видно, жарили печах.

И. о. стыда – румянец. Плоть в джерси  
Бессмысленна. «Прощай!» – и значит тело –  
всего лишь силуэт, сведенный к мелу  
на месте преступленья. Так курсив  
письма, – чтоб умолчать. И почерк, в целом,  
неровен, ибо он – душа горсти.

Гашетка ставит точку. И мураль  
листвы и трав вдруг оголяет кладку  
осеннего пейзажа. Небо шатко.  
И вы лицом – к стене, затылком – в даль,  
как та избушка. Но не ставят латку  
на дырку в голове, зане e.mail:

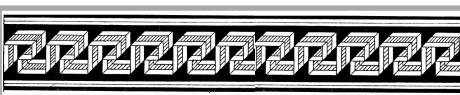
aid.@.ru. И вновь пора  
«очей очарованья». Жгут останки.  
К зиме, как дед учил, готовы санки.  
Лист, словно вызов брошенной с утра  
перчатки, пал. И делит все изнанкой  
и лицевой на завтра и вчера.

Апрель, 2003 г.

**Андрей Недавний**

**Е. Н.**

Исключи из возможного  
Ряда ассоциаций  
Привкус мороженого,  
Запах акации,  
Мелодику Шуберта  
С откусом бургерши,  
Ибо не умер ты,  
Но как-то судорожно





Вцепился в условности  
Окончания признаков  
Жизни. Все новости  
Похожи на призраков.  
Исключи из реальности  
Имя, фамилию –  
Смерть в атональности.  
Fac simile...

Март 2003 г.

\* \* \*



Если представить, а это вряд ли возможно, все взаимозависимости элементов, из которых складывается автор, то можно просто спать...

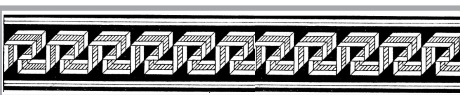
Вот вы примерно за день до написания своего первого стихотворения или чего-то издаেকে его напоминающего, назовём это текстом: уже трудно припомнить, кто (что) положил (-о) последний камушек на весы, но это нечто существует (существовало в образе) и проходит (-ло) свои стадии эволюции в лице вашего творчества всегда.

Сущность автора - константа состояния. Проявления этой сущности тем разнообразнее, чем богаче его символический словарный запас, при помощи которого мир опознаваем как отдельное, так и общее целое (дробится оно на составляющие или нет, - имеет значение не для всех).

Человек не обязан контролировать вещи, которые вне поля его зрения, а именно к таковым относится формирование слов в предложения перед тем, как они придут в его голову, он может отслеживать приемлемость и адекватность их своей сущности, из этого следует, что качество творчества автора напрямую зависит от этого постоянного сопоставления, другое дело, что не каждый автор применяет эту схему, а, тем более, есть и такие, кто об этом и не задумывались.

Если сравнивать творчество с растворением, то человек, тем тоньше (вплоть до всеприсутствия), чем качественнее способен меняться и усовершенствоваться в наборе символов, улучшая тем самым своё творческое видение.

Жаль, что людей с упрощённой схемой восприятия (типа: тыфу, дрянь!-ой, как здорово!-почему?-не знаю-что-то в этом есть и т.д.) большинство. Это большинство не в состоянии дать истинную оценку творчества более тонких авторов, и не потому что не хочет, а потому что не способно в принципе. Пример банальный: вы играете в шахматы, которые выше вас по росту, до определённого момента (если конечно вам знакомы правила игры) вы знаете как вам ходить, затем наступает момент творческого подхода, но ваш рост не позволяет вам оглядеть доску сверху - вывод: надо просто быть выше шахматных фигур... Если перефразировать: оценивать хорошего поэта может только более хороший поэт, иначе - профанация. У каждого уровня мастерства

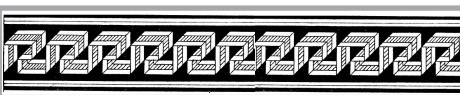
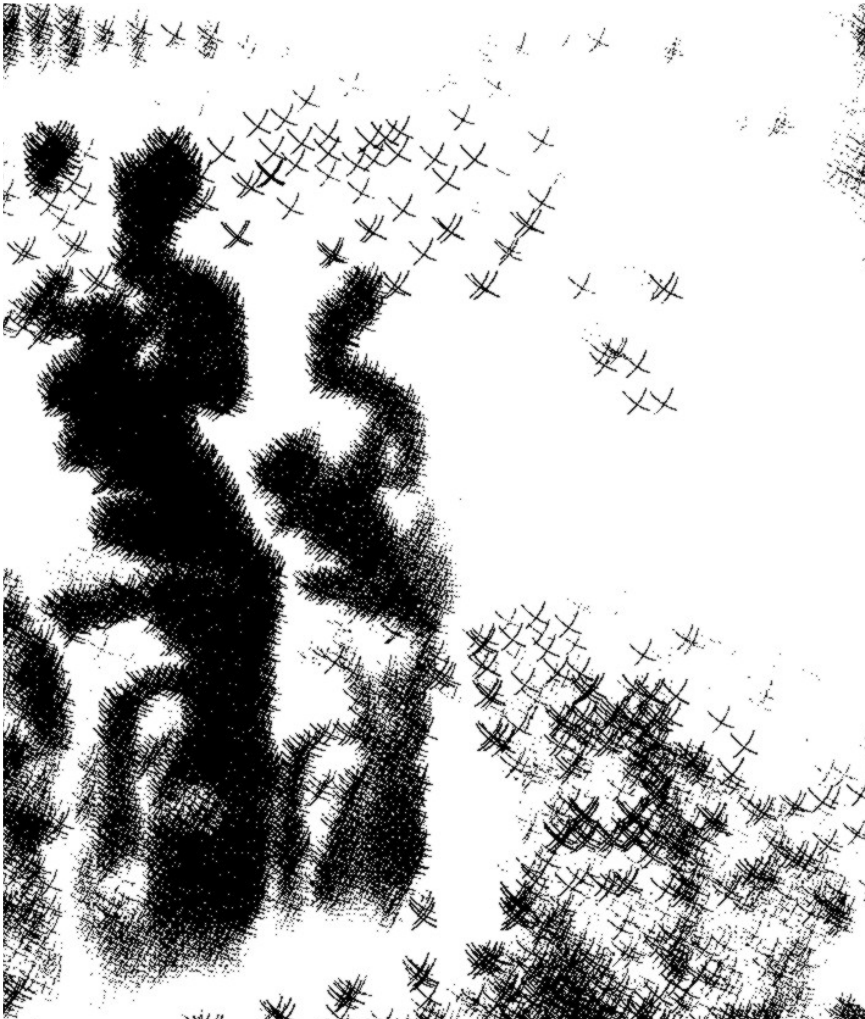




есть свои авторы, на которых равняются, но стоит автору перейти на более высокий уровень (а переход в нижний невозможен), как меняются его пристрастия... Со временем автор приходит к тому, что у него просто нет пристрастий, но есть полное понимание того, что происходит в нижних уровнях...

Прийти к одинокому беспристрастию - цель творческой эволюции. На этом пути было, есть и будет много пешеходов...

Апрель 2003 год





- Вы хотите сказать, (что) пока в словаре Брокгауза или Книге Гинеса не появятся имена ваших «опусов», то вы бесцельны, - а посему и «всесильны и неуязвимы» перед взаимной рядоположенностью «вещей» вашего мироустройства («небн.»; как вы говорите, или хотели бы сказать).

#### Антифея 1.

[«И ждал пока сегод Норна  
Найдет в своем чертоге для этого имя...»]

«Und hatte bis die gaue nor  
Den namen fand in ihrem born —...»

#### Теза 1.

звук, *небылицею*.  
неопределенности. А посему понятие цели, да и сама цель, становятся пустым творения/творчества *неуязвимо* предполагая в себе любовь (sic!) степень да, *генетически, родственно* он и п. п. и п. п., *принимая* якая акту последующими последствиями) (- оставим пока за-главность букв), то *свобо-* акту Творения Творца, то бишь *творчеством* (процессом/актом, с *генетическому* соотносению явя-ется *родственным* (оставим пока степень) проявлении. И поскольку искусство (оставим пока носителя) по *роду*, по фора/тебя/обязанности Творца в Его Творящем (со-Творящем) (сиювремени) художник, т. е. homo искусства, и есть аналог/образ/мета-обстоятельств (т. е. мира, вещей, процессов и пр..) *сюжети*ности сказать *генетическое*. А как нам говорит *традиция* и *реальное* состояние соотносимым с искусством. То бишь мы имеем соотношение по *роду*. Можно достижение власти (sic!) явяется действием, пусть не родственным, но Во вторых: Разве оппонент полагает что пролагание дорог, либо поэтому как бы и не сказанное, т. е. не суть утверждение.

Во первых: Оставим второе утверждение, заключенное в скобки, а Пролог 2: оппозиция.

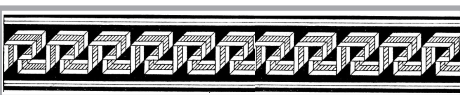
Ставьте себе цели — и достигайте их.  
(Поскольку, искусство, пожалуй, единственный род человеческой деятельности, где цель *всегда* оправдывает способы ее достижения.)

#### Пролог 1: апология.

манifest для механического сопрано и шаткого ступа

«...злутея страдает, когда [звучит] Слово (...),  
Восхищающее отлучением домостов.»  
*Назарджина* «Семьдесят строк о пустотности».

#### Духотупник







“Поскольку бытие

вот,

т. е. расположения и понимания

конститутивна речи,

а присутствие значит бытие-в-мире,

присутствие

как речь бытия-в

себя уже высказало.”

М. Хайдеггер

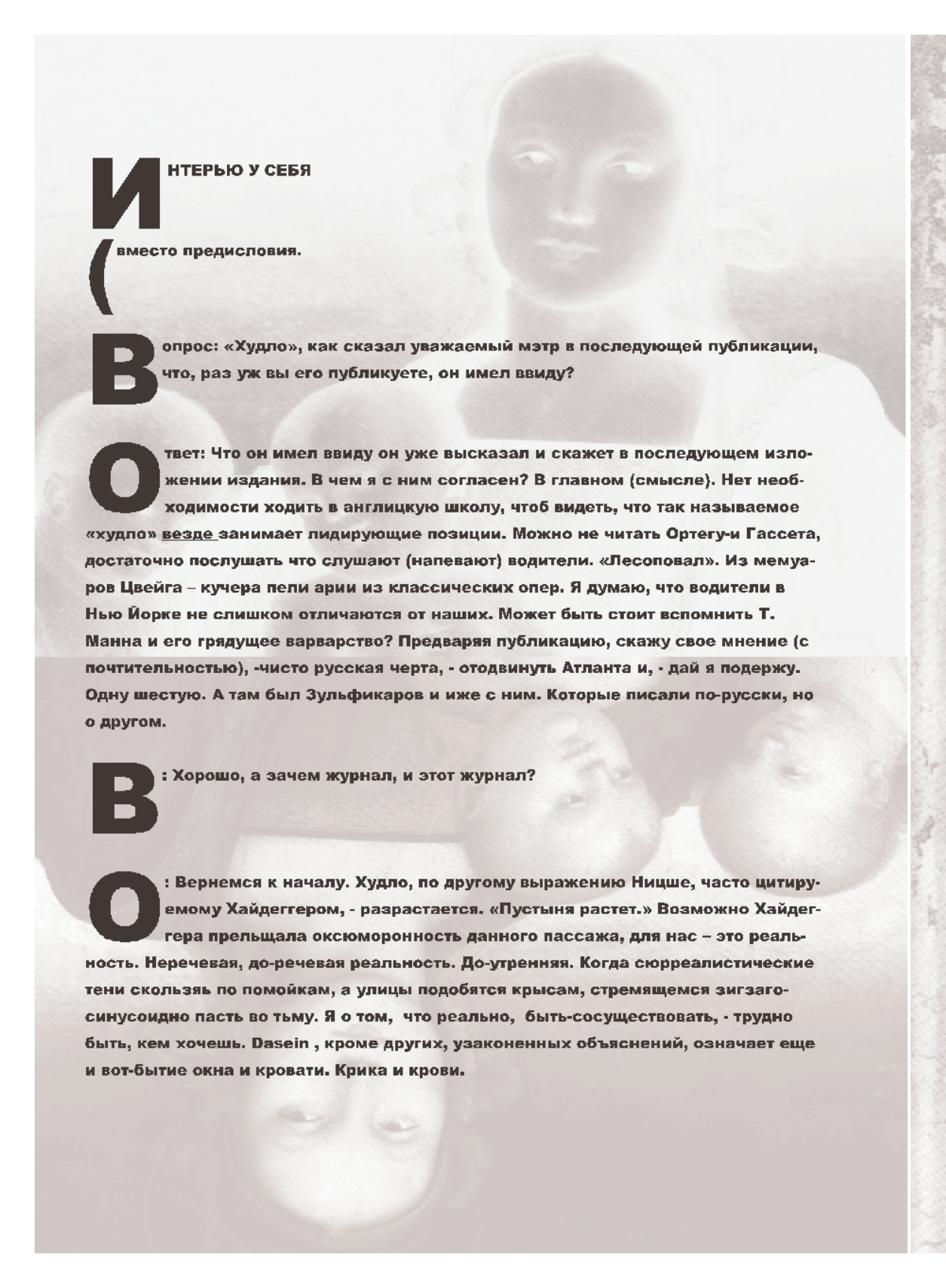


*Литературно-художественный журнал*



**БЕЗ**





**И**НТЕРВЬЮ У СЕБЯ

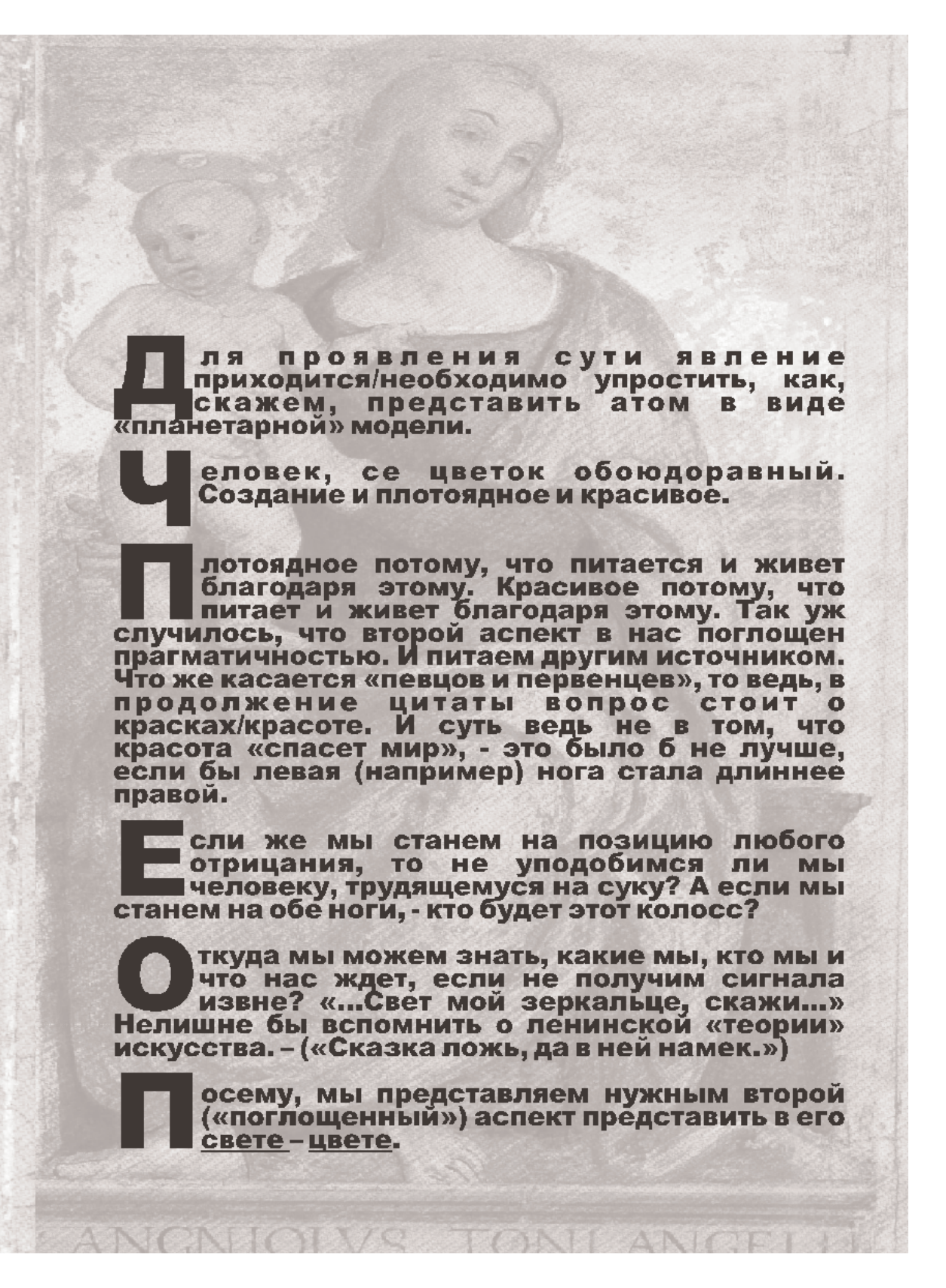
(вместо предисловия.

**В**опрос: «Худло», как сказал уважаемый мэтр в последующей публикации, что, раз уж вы его публикуете, он имел ввиду?

**О**твет: Что он имел ввиду он уже высказал и скажет в последующем изложении издания. В чем я с ним согласен? В главном (смысле). Нет необходимости ходить в английскую школу, чтоб видеть, что так называемое «худло» езде занимает лидирующие позиции. Можно не читать Ортегу-и Гассета, достаточно послушать что слушают (напевают) водители. «Лесоповал». Из мемуаров Цвейга – кучера пели арии из классических опер. Я думаю, что водители в Нью Йорке не слишком отличаются от наших. Может быть стоит вспомнить Т. Манна и его грядущее варварство? Предваряя публикацию, скажу свое мнение (с почтительностью), - чисто русская черта, - отодвинуть Атланта и, - дай я подержу. Одну шестую. А там был Зульфикаров и иже с ним. Которые писали по-русски, но о другом.

**В**: Хорошо, а зачем журнал, и этот журнал?

**О**: Вернемся к началу. Худло, по другому выражению Ницше, часто цитируемому Хайдеггером, - разрастается. «Пустыня растет.» Возможно Хайдеггера прельщала оксюморонность данного пассажа, для нас – это реальность. Неречевая, до-речевая реальность. До-утренняя. Когда сюрреалистические тени скользят по помойкам, а улицы подобины крысам, стремящемся зигзагосинусоидно пасть во тьму. Я о том, что реально, быть-сосуществовать, - трудно быть, кем хочешь. Dasein, кроме других, узаконенных объяснений, означает еще и вот-бытие окна и кровати. Крика и крови.



**Д**ля проявления сути явление приходится/необходимо упростить, как, скажем, представить атом в виде «планетарной» модели.

**Ч**еловек, се цветок обоюдоравный. Создание и плотоядное и красивое.

**П**лотоядное потому, что питается и живет благодаря этому. Красивое потому, что питает и живет благодаря этому. Так уж случилось, что второй аспект в нас поглощен прагматичностью. И питаем другим источником. Что же касается «певцов и первенцев», то ведь, в продолжение цитаты вопрос стоит о красках/красоте. И суть ведь не в том, что красота «спасет мир», - это было б не лучше, если бы левая (например) нога стала длиннее правой.

**Е**сли же мы станем на позицию любого отрицания, то не уподобимся ли мы человеку, трудящемуся на суку? А если мы станем на обе ноги, - кто будет этот колосс?

**О**ткуда мы можем знать, какие мы, кто мы и что нас ждет, если не получим сигнала извне? «...Свет мой зеркальце, скажи...» Нелишне бы вспомнить о ленинской «теории» искусства. – («Сказка ложь, да в ней намек.»)

**П**осему, мы представляем нужным второй («поглощенный») аспект представить в его свете – цвете.